Мастера современной прозы

МЮРИЭЛ СПАРК



Умышленная задержка
Мюриэл Спарк

Аннотация
Мюриэл Спарк. Умышленная задержка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Аннотация

Повествуя об «Обществе автобиографов», Спарк затрагивает одну из самых больных и злободневных проблем современного буржуазного общества. Новоявленный психологический Джек Потрошитель сэр Квентин пытается подчинить себе группу слабых и, в сущности, жалких людей, потчуя их какими-то таблетками. Реальной социальной опасностью стало на Западе моделирование сознания и манипулирование им. Именно этим на своем достаточно примитивном уровне и пытается заниматься сэр Квентин.

Мюриэл Спарк
Умышленная задержка

1

Однажды в середине двадцатого века я сидела на старом лондонском кладбище в районе Кенсингтона — тогда еще могилы не успели сровнять с землей, и тут молодой полисмен сошел с дорожки и направился по газону прямо ко мне. Он застенчиво улыбался, словно собирался пригласить меня на партию в теннис. Его всего лишь интересовало, чем это я тут занимаюсь, но приставать с вопросами он явно не хотел. Я сказала, что пишу стихотворение, и предложила ему бутерброд. Он отказался: только что пообедал. Мы немного поболтали, затем он попрощался, сказал, что могилы, верно, очень старые, он желает мне удачи и так приятно было хоть с кем-то перемолвиться словом.

Этим днем завершался целый период в моей жизни, но тогда я про то еще не знала. Занимаясь стихотворением, я просидела на каменном надгробии викторианских времен, пока не зашло солнце. Жила я близко, в комнате с газовым камином и газовой же конфоркой; чтобы включить

газ, требовалось сунуть в щель старую монетку[1], пенс или шиллинг, — что хотелось или имелось. Бодрость и жизнерадостность не оставляли меня. Я искала работу, и это по здравом размышлении должно было меня угнетать, но почему-то совсем не угнетало. Не действовало мне на нервы и свинство моего домовладельца, недомерка по имени мистер Алекзандер. Я с неохотой возвращалась к себе, зная, что он может меня подстеречь. За комнату я платила исправно, но он приставал, чтобы я сменила ее на другую в его же доме — побольше и подороже: он-то видел, что единственная моя комнатенка захламлена книгами и бумагами, сумками и коробками, запасами провизии и тем, что оставляли после себя бесконечные гости, забредавшие на чай или являвшиеся на ночь глядя.

Пока что я успешно отражала его претензии, сводившиеся к тому, что я фактически живу на две комнаты, а плачу за одну. Однако свинство домохозяина вызывало у меня острый интерес. Рослая миссис Алекзандер неизменно держалась в тени, когда речь заходила о найме квартир, дабы ее, чего доброго, не приняли за домовла-

[1] Примечания: 1

То есть выпущенную до перехода Великобритании на десятичную систему в 1971 г.

делицу. Волосы у нее всегда отливали черным глянцем — только что от парикмахера, ногти сияли красным лаком. При встречах в парадном она вежливо раскланивалась — как простая жилица, хотя и повыше классом. Вежливо улыбаясь в ответ, я должным образом впитывала ее каждой клеточкой мозга. Против Алекзандеров я ровным счетом ничего не имела, разве что они хотели навязать мне более дорогую квартиру. Выставь он меня на улицу, я бы и тогда не держала на них особого зла, в основном это бы вызвало у меня острый интерес. Я чувствовала, что в известном смысле мистер Алекзандер воплощает совершенное свинство, отборнейшее и непревзойденное. И хотя мне не хотелось встречаться с ним по пути в свою комнату, я прекрасно понимала, что, доведись нам столкнуться, я и из этого кое-что извлеку: я знала, что во мне сидит некий Daemon[2] и ему доставляет радость видеть людей такими, каковы они на самом деле, больше того — в их самом скрытом существе и сути.

В то время у меня было много дивных знакомых, исполненных добра и зла. Я тратила последние пенсы, но была крепка духом, тем

---

[2] Примечания: 2
Бес, демон *(лат.)*.

более что совсем недавно бежала из «Общества автобиографов» (некоммерческая организация), где меня считали помешанной, если не злоумышленницей. Я расскажу вам об «Обществе автобиографов».

За десять месяцев до того дня, когда я сидела среди ветхих могил на кенсингтонском кладбище, писала стихотворение и болтала с застенчивым полисменом, пришло письмо, начинавшееся: «Дорогая Флёр!»

«Дорогая Флёр!» Имя мне выпало при рождении по воле случая, как оно всегда получается, когда неизвестно, что выйдет из нас в будущем. Не то чтобы я уродилась дурнушкой, но только я и «Флёр»[3] не подходим друг другу, и все же имя свое носить приходится, как всем безнадежным Надеждам, робким Викториям, бесславным Владиславам и неверующим Анжеликам, с которыми нас сводит долгая жизнь с ее переменчивостью и контактами; как-то я встретила одного Ланселота, и, смею уверить, у него не было ничего общего с рыцарем.

Впрочем, все это так, к слову. «Дорогая Флёр! — начиналось письмо. — Я, похоже, нашла тебе

---

[3] Примечания: 3
От французского fleur — цветок.

место…» И так далее, очень скучно. Писала знакомая, желавшая мне добра, я уже не помню, как она выглядела. Почему я не выбросила все эти письма? Почему? Они хранятся в аккуратных тоненьких папках, перевязанные красной тесьмой, разобранные по годам — 1949, 1950, 1951 и т. д., и т. д. Меня учили на секретаршу; возможно, я инстинктом чувствовала, что письма надлежит подшивать, и уж наверняка понимала, что в один прекрасный день они будут представлять интерес. То есть сами по себе они не очень-то интересны. К примеру, где-то в это время, накануне 1950-го, пришло напоминание из книжной лавки — просили заплатить по счету, в противном же случае грозили «предпринять дальнейшие шаги». Я тогда была в долгах у книгопродавцев, причем некоторые проявляли ко мне снисходительность, а другие нет. В тот раз я, помнится, нашла письмо о «дальнейших шагах» вполне забавным и решила его сберечь. Может быть, я написала в ответ, что дальнейшие их шаги, неотвратимо ко мне приближающиеся, повергают меня в трепет, а может, только подумала написать. В конце концов я, видимо, заплатила, потому что сохранилась расписка на 5 фунтов 8 шиллингов 9 пенсов. К книгам я всегда вожде-

лела: почти все мои счета были за книги. У меня завелось какое-то очень редкое издание — и я отнесла его в другую лавку, чтобы погасить долг. Библиофилка из меня была никакая, в книге меня интересовало только содержание, а редкая она или нет — это было не важно. Я постоянно брала книги в публичной библиотеке, но часто, подгоняемая жаждой приобретательства, заглядывала и в книжные магазины, где, увидев, скажем, «Собрание стихотворений» Артура Клафа или полного Чосера, заводила с продавцом разговоры, которые завершались очередным счетом.

«Дорогая Флёр! Я, похоже, нашла тебе место!»

Я написала в Нортумберленд по указанному адресу, нахваливая себя как потенциальную секретаршу. Неделю спустя я села в автобус и поехала в отель «Беркли» на собеседование с моим новым работодателем. Было шесть часов вечера. Я боялась опоздать из-за часа пик и поэтому приехала раньше времени. Но он уже ждал меня, и, когда я спросила о нем у портье, он поднялся из ближнего кресла и подошел ко мне.

Он был выше среднего роста, тонкий, седой, с худым лицом и высокими скулами, на которых играл румянец, хотя лицо было бледное. Фигура у него казалась чуть-чуть перекошенной — правое

плечо вроде бы выдавалось вперед, словно он изготовился к рукопожатию. Всем своим видом он давал почувствовать, что вы имеете дело с личностью незаурядной. Он представился: сэр Квентин Оливер.

Мы сидели за столиком, потягивая сухой херес. Он спросил:

— Флёр Тэлбот… вы наполовину француженка?

— Нет. Просто матери нравилось это имя.

— Ага, любопытно… Ну что ж, позвольте-ка я введу вас в курс дела.

Он предложил мне жалованье урожая 1936 года, а на дворе стоял 1949-й, новые времена. Но я заставила его немного повысить первоначальную цифру и согласилась — работа обещала открыть совершенно новые для меня сферы жизни.

— Флёр Тэлбот… — цедил он за столиком в «Беркли». — Вы не в родстве с Тэлботами из «Тэлбот-Грейндж»? С достопочтенным Мартином Тэлботом, вы понимаете, о ком идет речь?

— Нет, — сказала я.

— С ними, стало быть, не в родстве. Впрочем, есть еще Тэлботы из рафинадного концерна «Финдли». Это сахарные короли. С ней мы большие друзья. Очаровательное создание. Для него,

на мой взгляд, слишком хорошая партия.

Лондонская квартира сэра Квентина находилась на Халлам-стрит, неподалеку от центра. Туда я и ходила работать с десяти утра до половины шестого вечера, минуя по дороге здание Би-Би-Си, где всегда мечтала получить место, но так и не получила.

В дом на Халлам-стрит меня каждое утро впускала экономка, миссис Тимс. В первый день сэр Квентин представил ее как «Берил, миссис Тимс», каковую она с великосветским акцентом тут же исправила на «миссис Берил Тимс», и мне пришлось торчать в прихожей, не сняв пальто, пока они препирались из-за этих тонкостей. Он вежливо указал на то, что поскольку до развода она именовалась миссис Томас Тимс, то в настоящее время, если уж соблюдать точность, она является Берил, миссис Тимс, а форму «миссис Берил Тимс» уж ни в коем случае нельзя считать принятой. На что миссис Тимс заявила, что готова предъявить соцстраховскую карточку, карточки на продукты и удостоверение личности в доказательство того, что она — миссис Берил Тимс. Сэр Квентин высказал мнение, что ведомственные чиновники, выписавшие ей означенные документы, не были достаточно информированы. Позже, добавил он,

он покажет ей по справочнику, что́ следует понимать под правильными формами обращения. Затем он обратился ко мне:

— Вам, надеюсь, сварливость не свойственна. Сварливая женщина что дождь на дырявую крышу — так гласит Святое писание, вот только не помню, у Екклезиаста или в Книге притчей Соломоновых. Вы, надеюсь, не очень разговорчивы?

— Я совсем не разговорчива, — ответила я, что было правдой, хотя слушать я очень любила: во мне вызревал мой роман, мой первенец. Я сняла пальто и небрежно бросила утонченной миссис Тимс; та схватила его в охапку и удалилась, демонстративно припечатывая паркет каблуками. Удаляясь, она презрительно поглядывала на пальто, вещь дешевую, из тех, что тогда выпускались под маркой «Предмет первой необходимости». В то время вся нация носила «предметы первой необходимости» — их можно было отличить по ярлыку с двумя пересекающимися полумесяцами. Многие из состоятельных, кто мог позволить себе отовариваться в дорогих модных лавках, предпочитали, однако, покупать «предметы первой необходимости», неизменно пуская при этом в ход, как я успела заметить, стандартный оборот — «вполне приемлемо». На

такие оборотики у меня всегда острый слух.

Но в глазах Берил Тимс мое пальто не было вполне приемлемым.

Я прошла за сэром Квентином в библиотеку.

— «Заходите, не стесняйтесь», — молвил мухе паучок»[4], — произнес сэр Квентин, и я отметила его остроумие признательной улыбкой, что, как я догадывалась, входило в мои служебные обязанности.

На собеседовании в «Беркли» он сообщил, что меня ожидает работа «…литературного характера. Мы образуем группу. Группу, могу добавить, едва ли заурядную. Вы будете заниматься весьма интересным делом, хотя, разумеется, вам придется взять на себя организационные вопросы, машинописную работу и еще — это мерзкое американское словечко — стенографию, да, и по канцелярской части у нас в настоящий момент все чудовищно запущено, тут придется навести порядок. Вы, мисс Тэлбот, сами разберетесь, что к чему».

Когда собеседование подходило к концу, я спросила, не заплатит ли он мне уже после первой недели, потому что я никак не протяну целый

---

[4] Примечания: 4

Начало хрестоматийного стихотворения Мэри Хоуит про коварного паука и хитрую муху.

месяц. Он весь подобрался — это его покоробило. Вероятно, он решил, что я собираюсь проработать неделю и уже тогда решать, остаться у него или нет; так оно отчасти и было, но и деньги мне тоже были нужны позарез.

— Ну разумеется, раз уж вы в такой *нужде*, — произнес он, словно речь шла о приступе морской болезни. А я все время ломала голову, почему он назначил встречу в одной из лондонских гостиниц — работать-то мне предстояло у него дома.

Теперь, впустив меня к себе в дом, он сам ответил на этот вопрос:

— Далеко не всем, мисс Тэлбот, открыты двери этого дома.

Я согласилась, что так же поступаем и все мы, и обвела комнату глазами; книг я не увидела — они стояли за стеклами. Но мое «и все мы» пришлось не по вкусу сэру Квентину: оно нас уравнивало. Он принялся объяснять мне, что я не так его поняла.

— Я имею в виду, — сказал он, — что мы образуем совершенно особый круг и цели у нас особо деликатного свойства. То, чем вы будете заниматься, — глубокая тайна. Прошу вас об этом не забывать. Я провел собеседование с шестью молодыми дамами, мисс Тэлбот, прежде чем

остановил свой выбор на вас, и прошу об этом не забывать.

Сейчас он восседал за роскошным письменным столом, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза и сведя кончики пальцев на уровне груди. Я сидела за тем же столом напротив.

Он мановением руки указал на большой застекленный шкаф старинной работы.

— Там, внутри, — произнес он, — кроются тайны.

Я не испугалась. Что он маньяк — это было ясно, и до меня, конечно, сразу дошло, что от него, пожалуй, ничего хорошего ждать не приходится, но ни в голосе, ни в поведении сэра Квентина я не уловила никакой прямой угрозы для себя лично. Однако была начеку и, говоря по правде, заинтригована. Роман, что я тогда писала, мой первенец «Уоррендер Ловит», заполнял всю мою жизнь. Я сама поражалась тому, как на протяжении работы над ним, начиная с самой первой главы, персонажи и положения, образы и обороты, без которых моя книга никак не могла обойтись, просто-напросто являлись непонятно откуда. Как магнит я притягивала нужный мне жизненный материал. И не то чтоб я воспроизводила его зеркально или дословно. Мне бы и в голову

не пришло описывать сэра Квентина с натуры. Но меня осчастливил его подарок — сведенные кончики пальцев и просквозившее в словах, какими он сопроводил мановение в сторону шкафа, — «Там, внутри кроются тайны» трепетное откровение: как же он хотел произвести впечатление, до чего жаждал уверовать в самого себя. Я могла бы тут же отказаться от места и больше с ним не встречаться, ни разу о нем и не вспомнить, но две эти детали (и еще кое-что) все равно бы остались со мной. Я чувствовала себя сродни тому шкафу орехового дерева, на который он мне указал. Здесь внутри кроются тайны, подумалось мне. В то же время я внимательно слушала сэра Квентина.

После всех этих лет я привыкла к таким вот вспышкам творческого прозрения в повседневной житейской суете, но тогда они мне еще были в новинку. Точно так же стимулировала меня и миссис Тимс. Страшная женщина. Но для меня — восхитительно страшная. Должна признаться, что в сентябре 1949-го я не имела и малейшего представления о том, смогу ли дописать «Уоррендера Ловита». Но для творческого стимула было совершенно неважно, хватит у меня сил закончить книгу или нет.

Сэр Квентин продолжал вводить меня в курс дела, когда миссис Тимс принесла почту. Ее сэр Квентин проигнорировал, зато обратился ко мне:

— Я разбираю корреспонденцию только позавтракав: эта процедура слишком нервирует. — (Напомню, что в те времена почту разносили в восемь утра и те, кто не ходил на службу, читали письма за завтраком, а те, кто ходил, — в общественном транспорте.) — Слишком нервирует.

Тем временем миссис Тимс подошла к окну и сказала:

— Умерли.

Она имела в виду розы, чьи лепестки устилали поверхность стола вокруг вазы. Собрав лепестки, она стряхнула их в вазу и взяла ее, чтобы вынести. При этом она глянула в мою сторону и перехватила мой внимательный взгляд. Взгляда я не отвела, сидела, уставившись в ту же самую точку, словно витала мыслями где-то в другом месте, так что, может быть, мне и удалось внушить ей, что я вовсе за ней не следила, а просто смотрела в ее сторону, думая о чем-то другом, а может, мне и не удалось ее одурачить, тут ведь не скажешь наверняка. Она так и вышла, все бормоча про мертвые розы, всей своей повадкой

очень напоминая жену одного моего знакомого, и походка у миссис Тимс была такая же.

Моим вниманием завладел сэр Квентин — он ждал, чтобы экономка наконец оставила нас в покое, полузакрыв глаза, по-молитвенному сложив ладони, локтями упершись в подлокотник и сведя кончики пальцев.

— Человеческая природа, — произнес сэр Квентин, — явление весьма удивительное, я нахожу ее весьма удивительной. Вы слышали старую поговорку «Правда чуднее вымысла»?

Я сказала, что слышала.

Стоял сухой солнечный день сентября 1949 года. Я, помнится, покосилась на окно — по кисейным занавескам бегали солнечные блики. У моих ушей хорошая память. Если я и вспоминаю какие-то прошлые встречи или старые письма вызывают их из забвения, то первыми накатывают звуковые образы и только потом — зрительные. Поэтому мне запомнилось, как говорил сэр Квентин, что именно и интонация, с какой он ко мне обратился:

— Мисс Тэлбот, вас мои слова интересуют?

— Ну конечно. Да, я согласна, правда чуднее вымысла.

Я-то думала, что он слишком занят собственной

персоной, чтобы заметить, как я повернулась к окну. Отвела же я глаза для того, чтобы не дать ускользнуть кое-каким безотчетным мыслям.

— У меня есть друзья, — произнес он и сделал паузу, чтобы я переварила сказанное. Проникшись чувством долга, я теперь ловила глазами каждое его слово. — Очень важные друзья, Очень Важные Лица. Мы образуем общество. Вы имеете представление об английских законах против клеветы? Дорогая моя мисс Тэлбот, законы эти весьма однозначны и весьма суровы. Нельзя, например, бросать тень на честь дамы, хотя кому это может понадобиться, если речь идет о настоящей даме; рассказывать же правдиво историю собственной жизни, что, естественно, затронет здравствующих ныне людей, — такое вообще невозможно. И знаете, что мы придумали, мы, у кого за плечами незаурядная, подчеркиваю — не-заурядная, жизнь? Знаете, что мы придумали, чтобы зафиксировать для потомства свой опыт?

Я сказала, что не знаю.

— Мы образовали «Общество автобиографов». Все мы начали писать мемуары — правду, всю правду и только правду. И мы поместим их в безопасное место на семьдесят лет, пока не уйдут из жизни все те, кто в них упомянут.

Он показал на объемистый шкаф, слабо освещенный солнцем, пробивающимся сквозь сборки кисейных занавесок. Я мечтала очутиться на улице — погулять в парке и поразмышлять над характером сэра Квентина: мне вполне хватало того, что я уже узнала.

— Такие бумаги следует держать в банковском сейфе, — сказала я.

— Прекрасно, — утомленно заметил сэр Квентин. — Вы абсолютно правы. Возможно, наши биографические воспоминания в конце концов там и осядут. Но не будем забегать вперед. Должен вам сообщить, что большинство моих друзей не имеют навыков к литературному изложению; у меня же к нему врожденная склонность, так что я взял на себя общее руководство проектом. Все они, разумеется, люди очень родовитые и живущие полной, весьма полной жизнью. Так или иначе, но это дни послевоенных перемен. Многого ожидать не приходится. Короче, дело в том, что я помогаю им писать их собственные воспоминания, на которые у них не хватает времени. Мы устраиваем дружеские собрания, встречи, посиделки и тому подобное. Когда все как следует наладится, начнем собираться в моем поместье в Нортумберленде.

То были его собственные слова, и я упивалась ими. Их я обдумывала, возвращаясь домой через парк. Они уже стали и моим воспоминанием тоже.

Сперва я решила, что сэр Квентин сколачивает себе капитал на этом бизнесе с воспоминаниями. «Общество», как он его называл, насчитывало тогда десять человек. Он дал мне пухлый список участников с приложением биографических данных, отобранных таким образом, что в действительности они больше говорили о сэре Квентине, чем о тех, кого он описывал. Хорошо помню, с каким трепетным восторгом читала я:

> «Генерал-майор сэр Джордж К. Биверли, бар-т, кав-р Орд. Брит. Имп. 2 ст., орд. «За Безупреч. Службу», в прошлом служил в знаменитом «отборном» полку Синих[5], ныне преуспевающий, весьма преуспевающий коммерсант (конторы в Сити и на континенте). Генерал сэр Джордж — кузен этой пленительной, этой бесконечно пленительной хозяйки салона леди Бернис «Гвардеец» Гилберт, вдовы

[5] Примечания: 5
Прозвище Королевской конной гвардии (по цвету мундиров).

бывшего поверенного в делах в Сан-Сальвадоре сэра Альфреда Гилберта, кав-ра орд. св. Михаила и св. Георгия 2 ст., Орд. Брит. Имп. 2 ст. (1919), чей портрет кисти этого знаменитого, этого прославленного портретиста сэра Эймоса Болдуина, кав-ра Орд. Брит. Имп. 2 ст., украшает великолепную Северную Столовую в Ландерс-Блейс, графство Бедфордшир, одном из семейных поместий матери сэра Альфреда, несравненной покойной графини Марии-Луизы Торри-Гил, друга Его Велич. Жога, короля Албанского, и миссис Уилкс, каковая находилась в дружеских отношениях с сэром К., автором этих строк, будучи дебютанткой в Санкт-Петербурге и являясь дочерью капитана Конной гвардии на службе у покойного царя; впоследствии вступила в брак с британским офицером лейтенантом Уилксом».

Мне это показалось стихотворением в прозе, и я мгновенно представила сэра Квентина, при том что был он на добрых тридцать пять лет старше меня, в виде серьезного малыша, который самозабвенно возводит из своих кубиков игру-

шечный замок с башенками и рвом; и опять же я мысленно уподобила это произведение искусства — описание генерал-майора сэра Джорджа К. Биверли со всеми его проч. и проч. — мельчайшей частице кристалла, скажем серы, увеличенной в шестьдесят раз и заснятой в цвете, так что она напоминает какую-нибудь замысловатую бабочку или экзотический анемон. По одной этой первой записи в списке сэра Квентина я мысленно подобрала к его трудам несколько художественных аналогий и поняла — все в то же мгновенье, — сколько религиозного рвения он в это вложил.

— Вам нужно изучить этот список, — сказал сэр Квентин.

Тут одновременно зазвонил телефон и распахнулась дверь в кабинет. Сэр Квентин поднял трубку и произнес: «Слушаю», с ужасом взирая на дверь. В комнату неверной походкой вошла высокая, худая, бесконечно старая женщина, вся в сияющем ореоле — в основном за счет нескольких ниток жемчуга на черном платье и яркого серебра волос. У нее были глубоко посаженные глаза и довольно дикий взгляд. Сэр Квентин тем временем распинался в трубку:

— Ах, Клотильда, дорогая моя, как я рад — одну минуточку, Клотильда, тут меня отвлекают…

Старуха приближалась, улыбка на ее лице с растрескавшимся слоем грима зияла, как кровавая рана.

— Кто эта девушка? — спросила она, имея в виду меня.

Квентин накрыл трубку ладонью.

— Умоляю, — страдальчески прошептал он, махая свободной рукой, — я разговариваю с баронессой Клотильдой дю Луаре.

Старуха взвыла. Предполагаю, что это был смех, но с уверенностью сказать не берусь.

— Ее я знаю. Думаешь, у меня не все дома? — Она повернулась ко мне. — Он думает, у меня не все дома.

Я обратила внимание на ее ногти, отросшие и загибающиеся внутрь наподобие когтей; маникюр был темно-красный.

— У меня все дома, — сказала она.

— Матушка! — произнес старый сэр Квентин.

— Ну и сноб же он! — взвизгнула его мать.

В эту минуту объявилась Берил Тимс и неумолимо оттеснила старую даму из кабинета; уходя, Берил свирепо на меня поглядела. Сэр Квентин с многочисленными извинениями вернулся к прерванному телефонному разговору.

Снобизм его был безмерен. Но в некотором

смысле он был для таких, как я, слишком уж большим демократом. Он искренне верил, что таланты, хотя природа и распределяет их неравномерно, со временем могут быть пожалованы вместе с титулом или переданы с родовым наследством. Что до воспоминаний — так на то и «негры», чтобы писать или выдумывать их вместо мемуаристов. Подозреваю, что в глубине души он верил, будто чашка веджвудского фарфора, из которой он манерно потягивал чай, обязана своей ценностью тому факту, что социальная система воздала должное семейству Веджвудов, а не фарфору, какой оно умудрилось произвести.

К концу первой недели меня допустили до тайн, запертых в шкафу у сэра Квентина в кабинете. Там лежали десять неоконченных рукописей — творения членов «Общества автобиографов».

— В завершенном виде эти труды, — заявил сэр Квентин, — окажут пользу будущему историку и одновременно произведут небывалый фурор. Вы, верно, легко сможете исправить любые ошибки или огрехи по части формы, синтаксиса, стиля, характеров, фабулы, местного колорита, описаний, диалога, композиции и прочих мелочей. Эти бумаги вам предстоит перепечатывать на машинке в условиях строжайшей тайны, и если вы удовле-

творите всем требованиям, то впоследствии вам разрешат присутствовать на некоторых собраниях «Общества» и вести протокол.

Его престарелая матушка появлялась в кабинете, как только умудрялась ускользнуть от Берил Тимс. Я предвкушала ее внезапные налеты, когда она врывалась, размахивая своими красными когтями и обличая крякающим голосом сэра Квентина в снобизме.

Поначалу я сильно подозревала, что сэр Квентин — дутый аристократ. Однако, как выяснилось, он был именно тем, кем представлялся, — выпускником Итона и кембриджского Тринити-Колледжа, членом трех привилегированных клубов, из которых я запомнила только два: «Уайтс» и «Бани», больше того, баронетом, а его занятная матушка — дочерью графа. Я была права, но лишь отчасти, когда объясняла его снобизм тем, что все перечисленное он решил обратить в доходный промысел. Мне в первую же неделю пришло на ум, как запросто он смог бы использовать для шантажа запертые в шкафу тайны. Прошло порядочно времени, пока я выяснила, что как раз этим-то он и занимается; только не деньги ему были нужны.

Возвращаясь домой в седьмом часу сквозь зо-

лотистые сумерки той дивной осени, я обычно доходила до Оксфорд-стрит, садилась в автобус, доезжала до «Уголка ораторов», пересекала Гайд-Парк и выходила к Королевским Воротам. Меня заинтриговал необычный характер моей новой работы. Я ничего не записывала, но вечерами большей частью работала над моим романом, и дневные впечатления, перегруппировываясь у меня в голове, складывались в два женских образа, что я вывела в «Уоррендере Ловите», — Шарлотты и Пруденс. Не то чтобы моя Шарлотта была полностью списана с Берил Тимс, отнюдь нет, да и старуха Пруденс вовсе не была копией матушки сэра Квентина. Персонажи сами собой возникали в моем подсознании — как сумма всего, что я знала о других, и моей собственной скрытой натуры; по-другому со мной не бывает. Иной раз я встречаю в настоящей жизни придуманный мной персонаж уже после того, как роман завершен и опубликован. Что касается образа самого Уоррендера Ловита, то в основных своих чертах он сложился и определился задолго до того, как я увидела сэра Квентина.

Сейчас, приступая к этой главе своей автобиографии, я живо вспоминаю, — а было это в те дни, когда я писала «Уоррендера Ловита» без особой

надежды увидеть книгу опубликованной, но подгоняемая одним лишь навязчивым желанием писать, — как однажды вечером я возвращалась домой через парк, поглощенная мыслями о моем романе и о Берил Тимс, образчике человеческой природы, и вдруг стала посредине дорожки. Мимо шли люди, одни навстречу, другие обгоняя меня, спешили домой, как и я, после трудового дня. Все конкретные соображения о миссис Тимс и воплощаемом ею типе женщины вылетели у меня из головы. Люди шли мимо, мужчины и юноши в темных костюмах и девушки в шляпках и пальто, судя по крою — от портного, а я стояла как вкопанная. Мне совершенно отчетливо подумалось: «Как чудесно ощущать себя писательницей и женщиной в двадцатом веке». То, что я женщина и живу в двадцатом веке, разумелось само собой. А твердое убеждение в том, что я писательница, не покидало меня ни тогда, ни потом. Итак, я стояла на дорожке в Гайд-Парке тем октябрьским вечером 1949 года, а на моей особе чудесным образом, можно сказать, сошлись все эти три обстоятельства, и я, столь счастливая, пошла своей дорогой.

Я частенько думала о Берил Тимс — женщине того типа, который я в конечном счете поимено-

вала Английской Розой. Не то чтобы эти женщины походили на английскую розу, какое там! Но в своих собственных глазах, как я понимала, они ею были. Данный тип вызывал у меня омерзение и одновременно острый интерес — таковы уж были аппетиты моего воображения и жажда все познать до конца. Ее жеманное кудахтанье, когда мы бывали вдвоем, ее жадность собственницы до такой степени пробудили мою творческую бдительность, что я сама начала подчирикивать, чтобы ее раздразнить, и даже, боюсь, ублажала собственную жадность до ее реакций тем, что их провоцировала. Она пришла в восторг от брошки, которая была на мне, — моей лучшей броши, овальной рисованной миниатюры на слоновой кости в оправе из легированной меди. Она изображала девичью головку с распущенными по-сельски волосами. Как тогда было принято, я носила ансамбль — брошь, пальто и юбка в одних тонах, — и Берил Тимс пришла в восторг, увидев брошь у меня на лацкане. Я ненавидела Берил Тимс, сидя с нею на кухне за утренней чашкой кофе и выслушивая ее кудахтанье по поводу моей очаровательной брошки. Я ненавидела ее так люто, что отцепила брошь и отдала ей — во искупление моей ненависти. Но я получила в

награду блеск ее глаз и открытый от изумления большой толстогубый рот.

— Вы серьезно? — воскликнула она.

— Ну конечно.

— Она вам не нравится?

— Напротив, нравится.

— Тогда зачем вы ее отдаете? — спросила она с ядовитой подозрительностью человека, которого жизнь, возможно, никогда не баловала. Она приколола брошку на платье. Может, мистер Тимс совсем ее замордовал, подумала я и сказала:

— Берите и носите себе на здоровье, — совершенно искренне. Затем пошла к раковине ополоснуть чашку. Берил Тимс последовала моему примеру.

— У меня на ободке остаются следы от помады, — сообщила она. — Мужчины не любят, когда на чашке или стакане остается помада, правда? Но любят напомаженных. Моей помадой всегда восхищаются — у нее чудесный оттенок. Называется «Английская Роза».

Она и вправду напоминала ужасную женушку моего любовника. Затем последовало:

— Мужчины любят, когда женщина носит украшения.

Стоило нам остаться вдвоем, как разговор сво-

дился к тому, что именно любят мужчины. На второй неделе нашего знакомства она спросила, не собираюсь ли я замуж.

— Нет, я пишу стихи. Мне нравится писать. Замужество только помешает.

Ответ сам пришел ко мне, я ничего не обдумывала заранее, но, видимо, мои слова прозвучали выспренне, потому что она глянула на меня с осуждением и заметила:

— Но ведь вполне можно выйти замуж, завести детей, а стихи писать вечером, уложив маленьких спать.

Я улыбнулась. Хорошенькой я не была, но знала, что от улыбки лицо у меня совершенно меняется, и в любом случае мне удалось вывести Берил Тимс из себя.

Эта ее осуждающая мина живо напомнила мне выражение, появившееся при других обстоятельствах на лице у Дотти, жены моего любовника. Дотти, нужно сказать, была пообразованнее Берил Тимс, но мина была та же самая. Она бросила мне обвинение в связи с ее мужем, что, по-моему, было с ее стороны просто скучно. Я ответила:

— Верно, Дотти, я его люблю. От случая к случаю, когда он не помеха моей поэзии и всему прочему. А вообще-то я принялась за роман, и это

требует от меня напряжения всех творческих сил — я, видишь ли, все постигаю через творчество. Так что случаи с Лесли, видимо, поредеют.

Дотти успокоилась — никто, стало быть, не собирается отбивать у нее мужика, но в то же время ужаснулась моему, по ее словам, ненормальному отношению, которое для меня было самым что ни на есть нормальным.

— У тебя голова правит сердцем, — в ужасе изрекла она.

Я сказала, что глупо так говорить. Она знала, что я права, но в решительные минуты цеплялась за общие места. Будучи особой высоконравственной, она в ответ обвинила меня в духовной гордыне:

— Гордыня до добра не доводит, — заявила Дотти.

В действительности вся моя гордыня сводилась к гордости за свое призвание; я ничего не могла с ней поделать и никогда не считала, что она непременно до чего-то «доводит». У Дотти было приятное молодое лицо, полные груди и бедра и толстые лодыжки. Католичка, она была безоглядно предана культу девы Марии и вконец задурила себе голову ее благими милостями; постоянное кудахтанье на тему о Богородице не

делало чести изрядному уму Дотти.

Сказав свое слово, Дотти, однако, тем и ограничилась. В ванной у нее я заприметила флакон духов «Английская Роза», что вызвало у меня отвращение, но в то же время порадовало и ублажило, поскольку подтверждало складывающееся о ней представление. Я в жизни многому научилась от Дотти — она давала мне наставления, которыми я с пользой пренебрегала. От меня она ничему полезному не научилась.

Но Берил Тимс была Английской Розой похлеще и пострашнее. К тому же и общаться с ней тогда мне приходилось чаще, чем с Дотти. Однако во всей своей красе она впервые предстала передо мной только через несколько недель, на неофициальном собрании «Общества автобиографов» — тех самых, чьи воспоминания я приводила в грамотный, удобочитаемый вид и перепечатывала на машинке. До тех пор я наблюдала, как Берил ведет себя с сэром Квентином, неизменно прибегая к вызывающему тону, который не вызывал, однако, желаемого эффекта; Берил не могла взять в толк почему, но ведь она была глупой.

— Мужчины любят, когда им перечат, — сказала она мне, — вот только сэр Квентин другой раз совсем не так меня понимает. А у меня еще его

мать на руках, разве нет?

С сэром Квентином она вела форменные сражения, пытаясь, ясное дело, возбудить его, — но тщетно. Высокий чин или цепочка титулов одни лишь могли заставить его содрогнуться в пароксизме наслаждения. Но он держал Берил Тимс в состоянии надежды. Я также внимательно наблюдала за отношением Берил к леди Эдвине, матушке сэра Квентина. Берил была при ней тюремщицей и компаньонкой.

2

Хотя никто из автобиографов не продвинулся дальше первой главы, в их воспоминаниях уже было несколько общих моментов. Во-первых, ностальгия, во-вторых, паранойя, в-третьих, очевидное желание понравиться будущему читателю. По-моему, и жизнь-то свою они, вероятно, проживали таким образом, чтобы все, чем они являлись, что делали и к чему стремились, прежде всего выглядело бы привлекательно. Перепечатка этих сочинений и попытки придать им какой-то смысл были для меня духовной мукой, пока я не открыла способа умело превращать их в нечто еще худшее, и результат привел в восхищение всех заинтересованных лиц.

Собрание членов «Общества» (всего десять человек) было назначено на три часа во вторник 4 октября, через пять недель после того, как я приступила к работе. До тех пор я никого из них не встречала, поскольку предыдущее ежемесячное собрание пришлось на субботу.

В то утро Берил Тимс устроила сцену, когда сэр Квентин сказал ей:

— Миссис Тимс, попрошу вас сегодня не спускать с матушки глаз.

— Глаз не спускать! — ответила Берил. — Легко сказать «не спускать глаз», а как прикажете не спускать глаз с ее милости и в то же время вам чай подавать? И как помешать ее непроизвольным мочеиспусканиям?

Эту фразочку я как-то сама подбросила Берил, чтобы скоротать время, — она нудно жаловалась, что старуха опять налила на пол. Не ожидала я, что моя формулировка так быстро привьется.

— Ей место в приюте для престарелых, — заявила Берил сэру Квентину. — Ей нужна личная сиделка. — И продолжала стенать в том же духе. Ее слова расстроили сэра Квентина, но и произвели на него должное впечатление.

— Непроизвольные мочеиспускания, — повторил он, рассеянно воззрясь на обои, словно пробовал на вкус незнакомое вино, чей букет он, однако, был готов скорее одобрить, нежели забраковать.

А я успела за это время полюбить леди Эдвину, главным образом, думаю, потому, что она сама очень сильно ко мне привязалась. К тому же мне доставляли удовольствие ее эффектные появления и поразительные высказывания. Я

видела, что она умеет неплохо себя контролировать, только не показывает этого Берил или родному сыну — несколько раз мы оставались одни в квартире, сидели болтали, и голос у нее при этом бывал самый нормальный. Почему-то в таких случаях — мы с ней и больше никого — она порой успевала вовремя доковылять до уборной. Из этого я заключила, что недержание мочи и все нелепости в обществе сэра Квентина и Берил объясняются тем, что она либо боится, либо терпеть не может обоих и что в любом случае они действуют ей на нервы.

— Брать на себя ответственность за вашу мать я сегодня не стану, пусть берет кто угодно, но только не я, — объявила Берил своим ротиком Английской Розы в то утро перед собранием.

— Боже мой! — молвил сэр Квентин. — Боже мой!

Тут в довершение всего вошла пошатываясь сама леди Эдвина:

— Думаете, у меня не все дома, да? Флёр, милочка, вы тоже думаете, что у меня не все дома?

— Конечно, не думаю, — сказала я.

— Они хотят заткнуть мне рот, но будь я проклята, если дам им заткнуть себе рот, — заявила она.

— Матушка! — произнес сэр Квентин.

— Хотят дать мне снотворного, чтобы я сегодня не шумела. Смешно. Потому что их снотворного я глотать не собираюсь. В конце концов, это моя квартира? А в своей квартире я хозяйка или нет? Могу я кого захочу принимать, а кого не захочу — нет?

Насколько я понимала, старуха была богата. Как-то она мне выболтала, что сын просил ее что-то там предпринять, чтобы ему не пришлось платить налог на наследство, — перевести, допустим, имущество на его имя, но не так уж у нее много имущества, и вообще, будь она проклята, если согласится стать королевой Лир. Я не больно поддержала разговор на эту тему и предпочла перевести беседу в русло вполне понятных и занимательных рассуждений относительно вероятных свойств и характера усопшей к началу действия пьесы супруги шекспировского монарха. В сущности, леди Эдвина была вполне нормальной, вот только сынок и Берил Тимс крепко ее заклевали. Что до ее необычной внешности, то мне она нравилась. Нравилось видеть, как она воздевает в обвиняющем жесте трясущуюся усохшую руку с ногтями-когтями, нравились четыре зуба с зеленоватым налетом, которые обнажались, когда она шипела или хихикала. Ее

дикий взгляд и довоенные вечерние платья из черных кружев или набивного узорчатого шелка с непременным украшением — блестящими бусами — скрашивали мне службу. Сейчас, когда она отстаивала свои права перед миссис Тимс и сэром Квентином, мне захотелось узнать всю предысторию. Это, верно, тянулось годами. Берил Тимс не сводила глаз с ковра под ногами у леди Эдвины, несомненно подкарауливая очередное непроизвольное мочеиспускание. Квентин восседал, откинув голову, закрыв глаза и сведя кончики пальцев как бы в самозабвенной молитве.

Я сказала:

— Леди Эдвина, если вы согласитесь отдохнуть нынче днем, то вечером можете приехать ко мне поужинать.

Она сразу купилась на мое предложение. Купились все. Поднялся галдеж и квохтанье: отвезете ее на такси, я с радостью оплачу, можно заказать машину на шесть, да нет, зачем заказывать, с радостью принимаем, дорогая моя мисс Тэлбот, какая отличная, какая в высшей степени свежая мысль. Такси будет… Матушка, мы можем приехать за вами на такси. Дорогая моя мисс Тэлбот, мы вам так благодарны. Стало быть, матушка, после полдника вы пойдете отдохнуть к себе в

комнату.

Леди Эдвина нетвердым шагом удалилась из кабинета, чтобы позвонить в парикмахерскую, — ее обслуживала молоденькая ученица, по первому вызову являвшаяся укладывать ей волосы. Помню, как сэр Квентин и Берил Тимс продолжали рассыпаться в благодарностях: им и в голову не приходило, что, может, мне самой хочется провести вечер с моей новой приятельницей, ограбленной временем и ставшей для них — но не для меня — постоянной докукой. Я прикинула, что́ у меня найдется на ужин: консервированная селедочная икра на гренках и растворимый кофе с молоком, идеальный ужин для леди Эдвины в ее годы и для меня — в мои. Жестянки с икрой и кофе входили в мой скромный запас драгоценных деликатесов. В те дни продукты отпускались строго по карточкам.

Около половины третьего она легла отдохнуть, но сперва заглянула в кабинет сообщить мне, что остановила свой выбор на серо-сизом платье с отделкой бисером по верху — хотя бы в пику миссис Тимс, которая советовала надеть старую юбку и джемпер как более подходящие для моей комнатенки. Я сказала леди Эдвине, что она кругом права и пусть укутается потеплее.

— У меня и шиншиля есть, — заявила она. — Тимс на мои шиншиля глаз положила, только я завещала их миссии в Кохинхине, чтобы продали в пользу бедных. Тимс будет о чем подумать, когда я умру. Если я умру первой. Ха! Мы еще поглядим.

Из десяти приглашенных членов «Общества» на собрание смогли прийти только шесть.

Хлопотный это выдался день. Я сидела в углу кабинета за пишущей машинкой, наблюдая, как один за другим входят автобиографы.

Вероятно, я слишком многого от них ожидала. Мой роман «Уоррендер Ловит» долго вызревал во мне, и я привыкла сначала мысленно рисовать вымышленные характеры, а уж потом наделять их биографиями. С гостями сэра Квентина получилось наоборот: биографии предшествовали людям из плоти и крови. Стоило им собраться, как я тотчас уловила окружающую их атмосферу унылой подавленности. Я успела прочесть не только прелестный биографический реестр, составленный на них сэром Квентином, но и первые главы их жалких воспоминаний; перепечатывая последние и внося в них основательную правку, я, как мне кажется, начала считать, что сама их придумала, отталкиваясь от первона-

чальных версий сэра Квентина. И вот эти люди, чьи достоинства под его пером выглядели выдающимися, если не редчайшими, с откровенным трепетом входили в его кабинет тем тихим солнечным октябрьским днем.

Сэр Квентин носился и порхал по комнате, устраивал их в креслах, кудахтал и время от времени представлял меня кому-нибудь из гостей:

— Сэр Эрик — моя новая и, рискну добавить, весьма надежная секретарша мисс Тэлбот; по всей видимости, не имеет отношения к знатной ветви семейства, к которой принадлежит ваша очаровательная супруга.

Сэр Эрик оказался маленьким робким человечком. Он как-то украдкой пожал руку всем присутствующим. Я правильно заключила, что он тот самый сэр Эрик Финдли, кав-р Орд. Брит. Имп. 2 ст. и сахарный оптовик, чьи воспоминания, как, впрочем, и всех остальных, не продвинулись далее первой главы: Детская. Главное действующее лицо — няня. Я слегка оживила картину, усадив в отсутствие родителей эту няню на коня-качалку вместе с дворецким, а крошку Эрика заперев в буфетной, где заставила его чистить столовое серебро.

На этой, ранней стадии сэр Квентин рассылал

всем десяти членам «Общества» по полному набору авторских экземпляров исправленных и перепечатанных глав, так что шестеро присутствующих и четверо отсутствующих автобиографов уже ознакомились с машинописным текстом собственных и чужих воспоминаний. Поначалу сэр Квентин счел мои добавления несколько экстравагантными: не кажется ли вам, дорогая моя мисс Тэлбот, что это немножечко *слишком*? Однако на свежую голову он, очевидно, нашел в моих переделках определенные достоинства, разработав план использовать кое-какие таящиеся в них возможности в своих интересах; утром он заявил:

— Что ж, мисс Тэлбот, давайте опробуем на них ваши варианты. В конце концов, мы живем в новые времена.

Мне уже тогда было ясно, что он рассчитывает улестить меня, чтобы я вписала в эти мемуары подробности похлеще, но я не собиралась писать ничего помимо того, что помогало на время скрасить скучные служебные обязанности и давало пищу моему воображению, занятому романом «Уоррендер Ловит». Так что его цели в корне расходились с моими, но и совпадали с ними постольку, поскольку он питал тщетные надежды

превратить меня в свое орудие, а я работала на него как заводная: копировальные машины тогда еще не вошли в обиход.

На собрании я следила за шестью автобиографами с самым пристальным вниманием, не бросив на них, однако, ни одного прямого взгляда. Мне всегда было интересней то, что я замечала, как говорится, краем глаза. Кроме плюгавого сэра Эрика Финдли присутствовали еще леди Бернис Гилберт, известная в своем кругу как «Гвардеец», баронесса Клотильда дю Луаре, миссис Уилкс, мисс Мэйзи Янг и лишенный сана священник отец Эгберт Дилени, в чьих мемуарах навязчиво подчеркивалось, что он лишился сана через утрату веры, но не нравственности.

Итак, леди Бернис вплыла в комнату и завладела было всеобщим вниманием.

— «Гвардеец!» — сказал сэр Квентин, заключая ее в объятия.

— Квентин, — ответствовала та хриплым голосом. Ей было около сорока, и выряжена она было во все новое: те, кто мог себе это позволить, покупали одежду охапками — карточки отменили всего пару месяцев назад. На «Гвардейце» был ансамбль в стиле «новый силуэт»: шляпка без полей с вуалеткой, жакет с рукавами типа

«баранья нога» и длинная широкая юбка — все черное. Она села рядом со мной, причем телесное это соседство дало о себе знать резким запахом духов. На кого она походила меньше всего, так это на автора первой главы своей автобиографии. Ее повествование, в отличие от некоторых других, отнюдь не было безграмотным — в том смысле, что она умела излагать связными предложениями. Начиналось у нее с того, что вот она, двадцатилетняя, совершенно одна в пустой церкви.

Но тут меня призвали обменяться рукопожатием с мисс Мэйзи Янг, привлекательной высокой девушкой лет под тридцать. Она опиралась на трость — одна нога у нее была заключена в нечто вроде клетки, выглядевшее так, словно ей предстояло носить это устройство всю жизнь, а не какое-то время после несчастного случая. Мэйзи Янг пришлась мне по душе. Я даже задалась вопросом, какими путями затесалась она в этот хор пустомель; еще больше меня поразило то, что именно она написала вступительную часть воспоминаний, фигурирующих под ее именем, — вступление, представляющее собой невнятные рассуждения о Космосе и о Существовании, которое суть Становление.

— Мэйзи, дорогая моя Мэйзи, куда бы мне вас устроить? Может быть, здесь? Удобно ли вам? Дорогая моя Клотильда, милейший отец Эгберт, вам всем удобно? Позвольте вашу накидку, Клотильда. Миссис Тимс — да где же она? — мисс Тэлбот, может быть, вы будете столь любезны, столь неоценимо любезны, и отнесете накидку баронессы…

Баронесса Клотильда, чью горностаевую накидку я вынесла из комнаты и отдала стенающей миссис Тимс, избрала местом действия своих мемуаров очаровательную виллу во Франции, недалеко от Дижона, где, однако, все и вся вступили в сговор против восемнадцатилетней баронессы. Мне было недосуг размышлять, но я на секунду успела подумать: как это Клотильде из воспоминаний могло быть восемнадцать в 1936 году, если в 1949-м ей явно за пятьдесят? Но перейдем к отцу Эгберту с его клетчатой курткой a la принц Уэльский и штанами из серой фланели, с его лицом снежной бабы, на котором вместо глаз, носа и губ — мелкая черная галька, с его автобиографией, начинавшейся: «Я берусь за перо не без известного трепета». В настоящий момент он пожимал ручку миссис Уилкс, тучной и добродушной на вид даме около пятидесяти

пяти, основательно накрашенной и облаченной в нечто бледно-сиреневое с обилием кисейных шарфиков. Она росла при дворе русского царя, стало быть, могла написать что-нибудь интересное, но до сих пор все ее воспоминания сводились к занудному отчету о невероятном паскудстве трех ее сестер и о неудобствах императорского дворца, где четыре девицы были вынуждены спать в одной комнате.

Написанное автобиографами, за исключением Бернис Гилберт, было в большей или меньшей степени безграмотно. Сейчас они для начала обменивались пустыми фразами и восклицаниями, но мне не терпелось услышать, что они думают о моей редактуре.

Миссис Тимс объявилась в кабинете по какому-то делу и на ходу шепнула, что леди Эдвина мирно почивает.

Для меня это было достославное собрание. Первые двадцать минут ушли на всякие представления и приветствия; отец Эгберт и сэр Эрик, знавшие, по всей видимости, четырех отсутствующих членов, какое-то время о них посудачили. Но тут сэр Квентин произнес:

— Леди и джентльмены, прошу внимания!

И все замолчали, кроме Мэйзи Янг, решившей

договорить то, что она рассказывала мне о вселенной. Ее увечная нога, торчащая в клетке из железных прутьев, казалось, и вправду давала ей право разглагольствовать дольше, чем всем прочим. У нее была сумочка на длинном ремешке мягкой кожи; я заметила, что ремешок она пропускает между пальцами на манер поводьев, а потому не удивилась, узнав позднее, что Мэйзи сломала ногу во время прогулки верхом.

Все в комнате притихли, продолжал раздаваться только ее голос, уверенный и звучный:

— Есть во вселенной явления, о которых нам, смертным, лучше не вопрошать.

Глупое это утверждение я пропустила мимо ушей, хотя сами слова продолжают звучать в моей памяти. Мэйзи много чепухи наговорила, преимущественно в том духе, что пишущий автобиографию должен начинать с первооснов Загробной Жизни, не тратя времени на мелочи посюстороннего существования. Я была решительно против ее представлений, но сама Мэйзи мне понравилась, в особенности то, как она, одна в притихшей комнате, продолжала настаивать, что в жизни есть такое, о чем лучше не вопрошать, тогда как свою автобиографию начала именно с такого рода вопросов. Противоречи-

вость — одно из постоянных и отличительных свойств характеров незаурядных, по ней я распознала в Мэйзи сильную личность. И раз уж в рассказе о собственной жизни тайны моего ремесла значат не меньше всего остального, то вполне могу здесь заметить: чтобы характер вышел убедительным, он должен обязательно быть противоречивым, даже в чем-то парадоксальным. Я-то уже поняла, что у десяти мемуаристов сэра Квентина автопортреты совершенно не получались, выглядели натянутыми и лживыми именно тогда, когда их творцы лезли из кожи вон, чтобы явить постоянство и твердость, какими хотели бы обладать, но не обладали. Свои лоскутные вставки я придумывала для того, чтобы расцветить повествование, а вовсе не затем, чтобы прояснить характер каждого из автобиографов. Сэр Квентин, неизменно вежливый по отношению к своей клиентуре, с улыбкой дождался завершения прочувствованной тирады Мэйзи:

— Есть во вселенной явления, о которых нам, смертным, лучше не вопрошать.

Тут ворвалась Берил Тимс — что-то ей вдруг понадобилось, хотя с этим вполне можно было и подождать. Судя по всему, она решила, что по-

скольку в ней все равно не замечают женщины, так и вести себя ей надлежит как мужчине. Своим топотом и грохотом — не помню уж, по какому поводу — ей, как и следовало ожидать, удалось привлечь к себе всеобщее внимание.

Когда она вышла, сэр Квентин продолжил было свою вступительную речь, но его быстро прервали: заговорил сэр Эрик. Для этого ему пришлось собрать все свое мужество, что было заметно.

— Послушайте, Квентин, — сказал он, — к моим воспоминаниям кто-то приложил руку.

— Неужели, — ответил сэр Квентин. — Надеюсь, они не стали от этого хуже? Могу распорядиться, чтобы все оскорбительное было изъято.

— Об оскорбительном речи не шло, — возразил сэр Эрик, обводя комнату робким взглядом. — А кое-какие ваши изменения и в самом деле очень интересны. В самом деле, непонятно, как вы догадались, что дворецкий запер меня в буфетной и заставил чистить серебро, а он и в самом деле так сделал. В самом деле. Но няня на коне-качалке, нет, няня была очень верующая. На моем коне и с нашим дворецким, в самом деле, знаете ли. Няня не стала бы вести себя эдаким образом.

— А вы уверены? — спросил сэр Квентин, игриво погрозив ему пальцем. — Откуда вам знать,

если все это время вы просидели взаперти в буфетной? По обработанной версии воспоминаний вы узнали об их проказах от лакея. Но если в действительности…

— Конь-качалка у меня был совсем не крупный, — заявил сэр Эрик Финдли, кав-р Орд. Брит. Имп. 2 ст., — и няня, хоть и не толстая, не уместилась бы на нем вместе с дворецким, который был мужчина хоть и худой, но весьма крепкий.

— Если будет позволено высказать свое мнение, — сказала миссис Уилкс, — то мне глава сэра Эрика показалась очень интересной. Жаль будет вычеркивать развратную няньку и скотину дворецкого с их играми на лошадке малютки Эрика; особенно мне понравилась одна суровая реалистическая подробность — запах бриллиантина от шевелюры лакея, когда тот наклоняется к малютке сэру Эрику-каким-он-был, чтобы рассказать о своем открытии. Это помогает понять сэра Эрика-каким-он-стал. Великая вещь — психология. Она, в сущности, всё.

— Сказать по правде, няня у меня совсем не была развратной, — пробормотал сэр Эрик. — На самом деле…

— Да нет, она была порочной до мозга костей, — заявила миссис Уилкс.

— Полностью с вами согласен, — сказал сэр Квентин. — Она была откровенно дурной особой.

Леди Бернис «Гвардеец» Гилберт заметила бронхиальным голосом:

— Я бы посоветовала вам, Эрик, оставить воспоминания в том виде, в какой их привел Квентин. Здесь уж приходится быть объективным. На мой взгляд, они значительно лучше первой главы моих собственных мемуаров.

— Я подумаю, — кротко ответил Эрик.

— А ваша автобиография, «Гвардеец»? — участливо поинтересовался сэр Квентин. — Вам не хочется увидеть ее в завершенном виде?

— И да, и нет, Квентин. Чего-то в ней не хватает.

— Это поправимо, «Гвардеец», дорогая моя. Чего же именно не хватает?

— Je ne sais quoi[6], Квентин.

— А знаете, «Гвардеец», — сказала баронесса Клотильда дю Луаре, — в вашей главе, по-моему, очень много от вас. Вся эта обстановка, моя милая, когда действие начинается так, словно поднимается занавес. Занавес поднимается — и вы в пустой церкви. В пустой церкви аромат

---

[6] Примечания: 6
Чего-то *(франц.)*.

ладана, а вы обращаетесь к Мадонне в час испытания. Меня это захватило, «Гвардеец». Клянусь. А затем появляется отец Дилени и возлагает вам на плечо руку…

— Я там не появлялся. Это был кто-то другой, — раздался протестующий голос отца Эгберта Дилени. — Тут ошибка, и ее нужно исправить.

Просительно сложив пухлые ручки, он посмотрел своими круглыми глазками-камушками на сэра Квентина, а потом на меня. И снова на сэра Квентина:

— Должен заявить по всей истине, что я не тот отец Дилени, которого леди Бернис описала в этой сцене. Во времена, о каких у нее идет речь, я вообще был семинаристом в Риме.

— Дорогой отец Эгберт, — сказал сэр Квентин, — не следует понимать все слишком буквально. В искусстве имеется такое понятие, как композиция. Тем не менее, поскольку вы возражаете против упоминания вашего имени…

— Я брался за перо не без известного трепета, — заявил отец Дилени, после чего с ужасом воззрился на женщин, включая меня, и со страхом — на мужчин.

— Я не называла священника по имени, — заметила «Гвардеец». — И вообще не указывала,

что вся сцена происходит в церкви, я только…

— Ах, но в ней столько tendresse[7], — сказала миссис Уилкс. — Моей автобиографии далеко до вашей по трогательности, а как бы хотелось…

В этот миг в кабинет вошла, пошатываясь, леди Эдвина.

— Матушка! — обомлел сэр Квентин.

Я вскочила и подала ей стул. Все повскакали с мест, чтобы как-то ей услужить. Сэр Квентин всплеснул руками, попросил ее удалиться к себе отдохнуть и возопил:

— Где миссис Тимс?

Он определенно ждал, что мать устроит им сцену, да и я ожидала того же. Однако леди Эдвина ровным счетом ничего не устроила. Она перехватила руководство собранием, словно это было званое чаепитие, и вконец развалила повестку дня, шантажируя присутствующих своим очень преклонным возрастом и новоявленным обаянием. Ее выступление привело меня в восторг. Кое-кого из них она знала по имени и справлялась о здоровье их близких с такой заботой, что живы те или нет — а большинство уже давно умерли — едва ли имело значение; когда же мис-

---

[7] Примечания: 7
Нежность *(франц.)*.

сис Тимс внесла поднос с чаем и кексами на соде, воскликнула:

— А вот и Тимс! Чем вкусненьким вы нас порадуете?

Берил Тимс остолбенела при виде леди Эдвины, восседающей в кабинете, — сна ни в одном глазу, лицо напудрено, вечернее платье из черного атласа со свежими следами осыпавшейся пудры на воротничке и плечах. Миссис Тимс клокотала, однако с жеманной улыбкой Английской Розы осторожно поставила поднос на столик перед древней Эдвиной, которая в эту минуту осведомлялась у бывшей духовной особы:

— Вы ведь священник из Уондзуорта[8], хотя и в мирском платье?

— Леди Эдвина, вам нужно отдыхать, — попробовала выманить ее миссис Тимс. — Давайте пойдемте со мной. Пойдемте-ка.

— Что вы, что вы, господи сохрани, — ответил отец Эгберт, выпрямляясь на стуле и оглаживая свою куртку a la принц Уэльский. — Я не принадлежу к числу слуг какой-либо церкви.

— Вот те раз, а я-то почуяла в вас духовную особу.

---

[8] Примечания: 8
Крупнейшая тюрьма в Англии.

— Матушка! — произнес сэр Квентин.

— Прошу вас, — сказала миссис Тимс, — это серьезное собрание, деловое собрание, которое сэр Квентин…

— Вам как налить? — спросила леди Эдвина у Мэйзи Янг. — Слабого? Крепкого?

— Среднего, пожалуйста, — ответила мисс Янг и глянула на меня из-под мягкой фетровой шляпы, словно я могла придать ей мужества.

— Матушка! — произнес сэр Квентин.

— Что у вас там с ногой? — спросила леди Эдвина у Мэйзи Янг.

— Несчастный случай, — тихо ответила мисс Янг.

— Леди Эдвина! Ну можно ли расспрашивать о… — начала миссис Тимс.

— Перестаньте хватать меня за руку, Тимс, — сказала Эдвина.

Разлив чай по чашкам и спросив баронессу Клотильду, как ей удается уберечь горностаевую накидку от моли без помощи нафталина (я тем временем помогала сэру Квентину разносить чашки), Эдвина сказала:

— Ну а теперь нужно пойти вздремнуть.

Она отвела руку Берил Тимс и позволила сэру Эрику помочь ей подняться. Когда она вышла

в сопровождении миссис Тимс, посыпались восклицания: «Как мило», «В ее-то годы», «Великолепная старость». Они продолжали все в том же духе, отдавая должное кексу под звон чайных ложечек о фарфор, когда дверь еще раз открылась и леди Эдвина заглянула в комнату.

— Прекрасная была служба, не терплю пения гимнов, — сказала она и ушла.

В кабинет просеменила Берил Тимс, собрала посуду и шепнула мне на ходу:

— Вернулась в постель. А еще называет меня Тимс, без миссис, какая наглость!

Я сидела в уголке за пишущей машинкой и вела протокол, пока не кончилось обсуждение воспоминаний, — до шести вечера, хотя рабочий день у меня кончился в половине шестого.

— Когда дойду до войны, — сказал сэр Эрик, — найдется о чем вспомнить. Это был пик моей жизни.

— Я утратил веру как раз в военные годы, — заявил отец Эгберт. — Так что для меня это тоже пик жизни. И боролся я с Господом всю ночь до рассвета.

Миссис Уилкс заметила, что далеко не каждой женщине, ставшей свидетельницей грубых крайностей российской революции, удалось, как

ей, уцелеть.

— Это в корне меняет обычное чувство юмора, — объяснила она, ровным счетом ничего не объяснив.

Я вела протокол у себя в уголке. Вспоминаю, что баронесса Клотильда, перед тем как уйти, обратилась ко мне;

— Вы, надеюсь, не пропустили ничего важного?

Мэйзи Янг — она опиралась на трость и все еще пропускала между пальцами, словно уздечку, ремешок от сумки — спросила меня:

— Где достать книгу, о которой мне рассказал отец Эгберт Дилени? Это чья-то биография.

В общем гаме они со священником как-то умудрились поговорить. Нацелив карандаш на блокнот, я обратилась за разъяснением к отцу Дилени.

— «Apologia pro Vita Sua»[9], — сказал он, — Джона Генри Ньюмена.

— Где мне ее найти? — спросила мисс Янг.

Я пообещала взять для нее эту книгу в публичной библиотеке.

— Если уж браться за автобиографию, так нуж-

---

[9] Примечания: 9
«Оправдание своей жизни» *(лат.)*.

но равняться на образцы, не так ли? — заметила она.

Я ее заверила, что «Оправдание» относится к их числу.

— Увы, — пробормотал отец Эгберт про себя, но так, чтобы мы его услышали.

Они разошлись только в четверть седьмого. Я пошла за леди Эдвиной — отвезти ее к себе ужинать.

— Она крепко спит, — сказала Берил Тимс. — И вообще она нарушила свое обещание, так что нечего вам из-за нее беспокоиться.

Сэр Квентин стоял рядом и слушал. Тимс воззвала к нему:

— С чего это нам платить за такси и вообще хлопотать с ней? Собранию-то она все-таки помешала.

— Но все ведь остались довольны, — сказала я.

Сэр Квентин сказал:

— Не знаю, как вы, но я лично пережил mauvais quart d'heure[10]: бедная мать, она способна ляпнуть или совершить все что угодно. Я снимаю с себя всякую ответственность. Эти mauvais quart d'heure…

---

[10] Примечания: 10
Неприятные четверть часа *(франц.)*.

— Пускай поспит, — решила Берил Тимс.

Когда я уходила, сэр Квентин напомнил:

— У нас с вами джентльменское соглашение — не обсуждать и не предавать гласности протоколы «Общества», не так ли? Все это строго конфиденциально.

Не будучи джентльменом ни в одном из возможных смыслов слова, я с готовностью согласилась; я всегда питала слабость к иезуитской казуистике. Но в ту минуту я могла думать только об этом собрании — оно повергло меня в восторг.

Домой я пришла в восьмом часу. Домохозяин мистер Алекзандер протопал вниз по лестнице, чтобы встретить меня, когда я открыла дверь в подъезд.

— Вас там ждет пожилая дама. Я впустил ее к вам в комнату — ей требовалось присесть. И показал где туалет — ей было нужно. В туалете она оставила лужу.

В своей комнате я нашла леди Эдвину, закутанную в длинную шиншилловую накидку: она сидела в плетеном кресле между книжным шкафом и оранжевой коробкой, в которой я хранила продукты, и вся сияла от гордости.

— Я удрала, — сообщила она. — Обвела их вокруг пальца. Такси не было, но меня подвез

какой-то американец. А книги — сколько же их у вас! И вы их все прочитали?

Я хотела позвонить сэру Квентину — сказать, что его мать у меня. Мой телефон был подсоединен к домашнему коммутатору в подвале. Коммутатор не ответил, что было в порядке вещей, и я постучала по рычагу, чтобы привлечь внимание. Низкооплачиваемый привратник, краснолицый и раздражительный, живший где-то в том же подвале с женой и детьми, ворвался ко мне с криком, чтобы я перестала стучать. Насколько я поняла, кто-то сверхурочно занимался ремонтом коммутатора.

— Щит под напряжением! — проорал привратник. Мне понравилась эта фраза, и я по привычке извлекла ее из-под обломков сварy, чтобы сохранить впрок.

— Леди Эдвина, — сказала я, — они хоть знают, где вы? Я не смогу позвонить.

— Никто не догадается, что меня нет, — ответила она. — Они думают, будто я легла спать, приняв снотворное, только я спустила снотворное в унитаз. Зовите меня просто Эдвиной, чего, заметьте, я не позволяю Берил Тимс.

Я извлекла чашки, блюдца, тарелочки и приготовилась весело провести вечер. Под ноги старой

даме я подсунула три тома полного Оксфордского словаря английского языка. Вид у нее был царственный и в то же время очень домашний; мочевой пузырь ее совсем не беспокоил, она всего раз попросилась в уборную; восторженно покрякивая над селедочной икрой, она сравнивала ее с настоящей — «одно и то же, только рыба разная».

— Ваша комната так напоминает Париж, — заметила она. — Художники, которых я знала… — Она задумалась. — Художники и писатели, они, конечно, преуспели. И вы тоже…

Я поспешила ее заверить, что это маловероятно. Мне было как-то боязно связывать себя и успех, тем самым как бы умаляя достоинства моих уже порядком поднакопившихся сочинений, из коих всего лишь восемь стихотворений увидели свет в тонких малотиражных журналах.

Я выбрала одно неопубликованное стихотворение, которое высоко ценила, несмотря на то что его заворачивали из восьми редакций и оно на протяжении года возвращалось с неизменной утренней почтой к родным пенатам в конверте, который я посылала вместе с ним, снабдив маркой и обратным адресом. Может быть, выпавший этому стихотворению жребий парии и заста-

вил меня его полюбить. Старая дама теребила шиншиллу, вцепившись длинными красными ногтями в серебристо-серый мех. Стихотворение называлось «Metamorphosis»[11].

Как эта боль актиниям знакома,

Что, в страхе отклониться от природы,

Стремятся все ж — упрямо, своенравно —

Дышать иным дыханьем, превращаясь

В тварь из цветка, и пытка длится вечно.

Когда я читала приведенную первую строфу, явился мой любовник Лесли, открыв дверь полученным от меня ключом. Он был высок и сутуловат. Свежий цвет молодого лица оттеняла белокурая прядь, которая свисала ему на глаза. Я им гордилась.

— Как поживаете? — спросила Эдвина, когда я их познакомила. Она еще раньше мне объяснила, что раз у нее плохая память на лица и имена, то она со всеми здоровается одинаковым «Как поживаете?» — на тот случай, если встречалась

[11] Примечания: 11
«Превращение» *(лат.)*.

раньше.

— Благодарю, прекрасно, — сказал Лесли, забывая ответить ей тем же. Он частенько выводил меня из себя неучтивостью в мелочах. Весь в своих многочисленных личных проблемах, он был слишком большой эгоист, чтобы отвлечься от них сейчас, когда я дарила ему это великолепное привидение, Эдвину, — древний, морщинистый, накрашенный призрак в роскошных мехах.

Пока он стягивал пальто и усаживался на диване-кровати, Эдвина любезно осведомилась:

— Какова ваша профессия, сэр?

— Я критик, — сказал Лесли.

И вдруг Лесли утратил для меня всякое очарование. Последнее время такое находило на меня все чаще и чаще. И дело кончалось ссорой. Лесли сидел как чурбан, позволяя обращаться к себе с вопросами, но не в силах забыть о собственной персоне с ее тревогами, и его молодое лицо и хорошее здоровье подчеркивали старческую проницательность Эдвины, ее алые ногти, блестящий, жадный до жизни взгляд. В кармане его пальто я углядела горлышко бутылки, которую он, видимо, намеревался распить вместе со мной. Я ее вытащила — контрабандное алжирское вино.

— Музыкальный критик? — спросила Эдвина.

— Нет, литературный. — Он повернулся ко мне: — Кстати, ты тут читала стихотворение — что там за строчка «Дышать иным дыханьем»?

Я отложила бутылку и взяла стихотворение.

— Они думают, у меня не хватает, — заявила Эдвина. — Но у меня хватает. Ха!

— Очень неудачная строчка, — сказал Лесли.

Я прочитала вслух «Дышать иным дыханьем, превращаясь…» Мне показалось, что Лесли прав, но я спросила:

— Чем она тебе не понравилась?

— В этой бутылке есть что-нибудь? — сказала Эдвина.

Лесли ответил:

— Слишком бледно. И повтор режет слух.

Я сказала:

— Сухое алжирское, Эдвина. Я бы с удовольствием вам предложила, да боюсь, вам от него плохо будет.

— Дай-ка открою, — сказал Лесли, по-хозяйски извлекая штопор. К моим сочинениям у него было двойственное отношение: ему часто нравилось, что́ я пишу, но не нравились мои планы публиковать написанное. Из-за этого я отвергала большинство его критических замечаний.

Что до литературного критика, то у него были основания таковым называться, поскольку он рецензировал книги для еженедельника «Тайм энд тайд» и для ряда тонких журналов, хотя на жизнь зарабатывал службой у юриста.

Он откупорил бутылку под уверения Эдвины, что глоточек алжирского ей вполне по силам.

В дверь постучали. Это оказались гневливый привратник и мой хозяин мистер Алекзандер.

— Звонят по городскому к мистеру Алекзандеру, жутко неудобно, — сообщил привратник.

Сам мистер Алекзандер добавил:

— Коммутатор вышел из строя. На сей раз я уж позволю вам поговорить от меня из гостиной — ваш знакомый утверждает, что вы ему срочно нужны, но попрошу вас позаботиться, чтобы ваши знакомые впредь не нарушали мой покой.

Он продолжал в том же духе, пока я шла за ним в гостиную, где его жена в диадеме из своих черных волос сидела, вытянув длинные ноги.

Звонил сэр Квентин.

— Матушки нет дома, — начал он, — и мы…

— Она у меня. Я ее привезу.

— Ох, как же мы изволновались, дорогая моя мисс Тэлбот. С вами было очень трудно связаться. Миссис Тимс…

— Пожалуйста, не звоните больше по этому номеру, — сказала я. — Хозяева возражают.

Я повесила трубку и принялась извиняться перед Алекзандерами:

— Понимаете, пожилая дама…

Они взирали на меня с ледяной неприязнью, будто самый звук моего голоса был для них оскорбителен. Я быстро вернулась к себе и застала Лесли с Эдвиной весело выпивающими на пару. На Лесли начало действовать обаяние Эдвины. Он читал ей мое стихотворение, не оставляя от него камня на камне.

Он согласился отвезти Эдвину домой, вышел кому-то там позвонить и поймать такси; машину он подогнал к самым дверям.

— Потом поеду прямиком к себе, — сообщил он, поддерживая ковыляющую Эдвину. — Мне нужно лечь пораньше.

— Мне тоже, — сказала я. — Нужно об очень многом подумать.

— Он вас ревнует, Флёр, — сказала Эдвина, но я не поняла, что она имеет в виду.

Когда ее усаживали в такси, она спросила:

— У вас в комнате настоящий Дега?

— Художник его школы, — сказала я.

Лесли рассмеялся от всей души. Я помахала

им на прощанье и вернулась к себе. Помнится, я поглядела на эту картину — экипаж, а в нем две женщины с красными помпонами на твердых коричневых шляпках — и еще подумала: как ее можно было принять за Дега?! Картина была английская, подписанная «Дж. Хэйлар. 1863».

Я начала прибирать и готовиться ко сну, в целом глубоко довольная прожитым днем, когда на улице у меня под окном раздался женский голос, распевающий «За счастье прежних дней». Это был условный сигнал; им пользовались лишь немногие из моих друзей, давая знать, чтобы я впустила их в позднее время, не навлекая на себя нареканий со стороны неумолимой администрации и обслуживающего персонала. Открыв окно и выглянув на улицу, я с изумлением различила при свете фонаря массивную фигуру Дотти, жены Лесли; время шло к полуночи, и до этого она заявлялась сюда так поздно лишь тогда, когда рассчитывала застать у меня своего мужа. Я решила, что произошло нечто непредвиденное.

— Что случилось, Дотти? — сказала я. — Лесли здесь нет.

— Знаю. Он позвонил, что подбросит до дома твою знакомую, а затем отправится в Сохо на какое-то литературное сборище, от которого не

смог отвертеться. Флёр, нам надо поговорить.

Я услышала, как у меня над головой отворили окно, но смотреть не стала, — и без того было ясно, что это кто-то из Алекзандеров и сию минуту подымется шум. Я только сказала:

— Сейчас открою.

Окно наверху захлопнулось. Я сошла вниз и впустила Дотти. Ее симпатичное лицо было укутано в шарфики, благоухавшие «Английской Розой».

Я налила ей алжирского. Она расплакалась.

— Лесли, — сказала она, — использует нас обеих как ширму. У него есть кое-кто еще.

— Кто именно? — сказала я.

— Пока не знаю. Какой-то молодой поэт, мужчина, это известно наверняка, — ответила Дотти. — «Любовь, которая себя назвать не смеет».

— С мальчишкой связался, — сказала я в лоб, тем самым усугубив страдания Дотти.

— Тебя это не удивляет? — спросила она.

— Не очень.

Мне было любопытно, как он умудряется на всех нас выкраивать время.

— Меня просто ошеломило, — сказала Дотти, — и уязвило. Ранило в самое сердце. Ты не представляешь, как я страдаю. Возьму обет — буду

девять дней бить поклоны нашей пресвятой Богородице Фатимской. Ох, Флёр, когда я узнала, что ты его любовница, я и то не страдала так, потому что…

Я ее оборвала, придравшись к словечку «любовница», которое, как я подчеркнула, подразумевает нечто совершенно отличное от моей свободной связи с бедняжкой Лесли.

— Почему ты сказала «с бедняжкой Лесли», почему он «бедняжка»?

— Потому что не может разобраться в собственной жизни, никак с ней не сладит, и это яснее ясного.

— Он называет тебя своей любовницей, не я.

— Он преувеличивает. Бедняжка Лесли.

— Что же мне делать? — вопросила она.

— Можешь от него уйти. Можешь остаться.

— Как быть, ума не приложу. Я так страдаю. Я ведь всего-навсего человек.

Я знала, что рано или поздно услышу про то, что она всего-навсего человек. И предчувствовала, что вскоре она примется обвинять меня в бесчеловечности. Внезапно меня озарило.

— Можешь написать автобиографию, — сказала я. — Можешь вступить в «Общество автобиографов». Те, кто в нем состоит, пишут свои правдивые

жизнеописания и отдают на хранение сроком на семьдесят лет, чтобы не обидеть живущих. Глядишь, тебе и полегчает.

Я легла в третьем часу. Помню, как деяния этого дня, полного непостижимой жизни, снова прошли перед моим мысленным взором. Я уснула с непривычным чувством, будто грусть и надежда встретились и взяли друг друга за руки.

3

Я веду рассказ о том, что со мною случилось и что я делала в 1949 году, и это наталкивает меня на мысль: насколько проще иметь дело с персонажами в романе, чем с живыми людьми. Романист придумывает образы и располагает их, как ему удобно. Мне же, пишущей сейчас о самой себе, приходится сообщать о том, что происходило на самом деле, и о тех, кто естественно приходит на память. Жизнеописание — очень неофициальная церемония: здесь не действуют правила протокола или гостеприимства, отсутствуют пригласительные билеты.

В свое время некая знаменитость отметила в трактате о драме, что действие не сводится к одному мордобитию, имея, понятно, в виду, что диалог и чувства — тоже действие. Так вот и действие моей биографии в 1949 году включало работу над «Уоррендером Ловитом» — я корпела над ним как проклятая большинство вечеров и суббот, выкладывала всю себя без остатка. Мой «Уоррендер Ловит» был таким же действием, как спор с Дотти, когда я отговаривала ее от попыток

удержать Лесли, родив ему ребенка, — через сутки она зашла сообщить мне, что твердо решилась. Мой «Уоррендер Ловит», которого я с появлением гостей мигом убирала с видного места, а отправляясь по утрам на службу, прятала, чтобы приходящая прислуга ненароком не выбросила рукопись, занимал собою самые сладкие мои помыслы и самые заветные тайники творческого воображения, это было как любовь и даже лучше. Когда я дни напролет возилась с делами «Общества автобиографов», мой неоконченный роман, воплотившись едва ли не в сообщника и тайного партнера, был со мною как тень, куда бы я ни шла и чем бы ни занималась. Записей я не делала, все носила в голове.

Надо сказать, что к тому времени сюжет «Уоррендера Ловита» фактически сложился, причем без воздействия «Общества автобиографов». Но вот что любопытно — тогда мне казалось, что скорее наоборот. Тогда. Сейчас, мысленно возвращаясь к тем дням, я не в силах понять, как это получилось. Тем не менее так оно и было. В состоянии лихорадочного творческого напряжения я наблюдала, как по мере написания глав романа сэр Квентин у меня на глазах становится все более завершенным воплощением придуманного

мною Уоррендера Ловита. Я видела, что наши автобиографы вот-вот станут его жертвами, благо в психологическом смысле он был настоящий Джек Потрошитель.

Мой Уоррендер Ловит, разумеется, был мертв уже к концу первой главы, где родные — племянник Роланд с женой и мать, Пруденс, — ждут приезда нашего мессии, поэта и столпа морали и где сообщается об автомобильной катастрофе, в которой погибает великий Уоррендер. Вы, может быть, помните, что до того, как врачи устанавливают факт смерти, идет эпизод, когда жена Роланда — Марджери произносит при виде обезображенного до неузнаваемости лица Ловита: «Ох, сколько же его придется оперировать, может, он будет носить маску до конца жизни». Я задумала это как одну из тех бессмысленных фраз, что вырываются в минуты истерики или сильнейших потрясений. Но из слов Марджери становится ясным, что он умирает, а маска не надета, напротив, сорвана до конца его жизни. Понятно, жизни на страницах романа, после того как Пруденс, вопреки желанию остальных членов семьи, передает письма и остальные бумаги Уоррендера американскому ученому Прауди. Когда до меня начало доходить направление

мыслей сэра Квентина, в романе все бумаги были уже у Прауди.

Как вам известно, я и раньше подозревала, что сэр Квентин пустился в какую-то аферу, возможно, даже с видами на шантаж. В то же время я не могла обнаружить для шантажа никаких оснований. Денег на это предприятие он не тратил; с другой стороны, он, судя по всему, был человеком вполне состоятельным, тогда как его потенциальные жертвы из «Общества» были интересны скорее высоким общественным положением в прошлом, нежели огромным богатством, способным соблазнить примитивного шантажиста. Кое-кто из автобиографов пребывал даже в стесненных обстоятельствах.

Из писем я уяснила, что четверо не явившихся на собрание членов уже пытаются открутиться от «Общества», да и сама я решила — возьму и уйду, как только мои смутные тревоги и некоторые подозрения выльются в нечто определенное.

Одним из четырех отступников был химик-фармацевт, проживающий в Бате, — он сослался на неотложные дела, другим — нежно лелеемый генерал-майор сэр Джон Биверли, с его разветвленными связями, сообщавший в ответ на приглашение, что ему прискорбно изменя-

ет память и он, увы, вообще ничего не в силах припомнить. Еще была ушедшая на пенсию школьная директриса из Сомерсета, которая сначала объяснила, что «Клуб любителей тенниса» не оставляет ей времени на воспоминания, как она надеялась, а затем, после новых улещаний со стороны сэра Квентина, выставила новое оправдание — из-за артрита ей трудно часто печатать на машинке или брать в руки перо. Четвертой отказавшейся была моя знакомая, та самая, что свела меня с сэром Квентином. Теперь, когда я устроилась на службу, она, видимо, сочла за лучшее не посвящать сэра Квентина в свою биографию, поскольку последняя непременно прошла бы через мои руки. Она написала ему, что ее биография представляет немалый интерес и поэтому она будет работать над ней с расчетом на публикацию; мне она написала в том же духе, умоляя изъять вступительные странички, которые она успела передать сэру Квентину, и выслать их ей по почте. Так я и сделала. И сэр Квентин, думаю, знал про это: он долго искал три страницы, принадлежащие моей приятельнице Мэри, но, не найдя их на месте, так и не спросил меня, причастна ли я к их пропаже. Я бы охотно призналась, что вернула их автору, но он только

с усмешкой поглядел на меня и произнес:

— М-м, да. Любопытный был материал, не так ли?

— Не знаю, — сказала я, — не читала.

Что было правдой.

Сэр Квентин направил четырем дезертирам еще несколько писем с льстивыми уговорами, на которые получил еще более решительные и в известном смысле испуганные отказы, после чего все четверо расстались с «Обществом». Химик из Бата дошел до того, что велел своему поверенному официально уведомить сэра Квентина о своем твердом и безусловном выходе из «Общества автобиографов». В том, что он обратился к услугам поверенного, я уловила истерику — на самом деле достаточно было просто не отвечать сэру Квентину, чтобы все кончилось тем же.

Итак, у оставшихся членов группы сэра Квентина я нашла одно общее свойство — слабый характер. С этим, по-моему, нужно обходиться так же, как и с физической слабостью. Не каждый рождается героем или атлетом. В то же время элементарный здравый смысл требует опасаться любой слабости, включая собственную; слабые натуры способны, если их спровоцировать, на действия ужасные и непредсказуемые. Все это

к тому, что сэр Квентин, как я полагала, замышлял что-то очень опасное, откровенно стремясь подчинить своей воле этих слабых людей, но вот для чего — это я пока еще не смогла выяснить. Тем не менее я поделилась своими соображениями с Дотти, прежде чем отвести ее в «Общество автобиографов». Я предупредила, чтобы она ни в коем случае не сболтнула ничего лишнего, и посоветовала, если сумеет, развлечься тем, что там происходит. Ибо я хотела, чтобы немножко веселья, неважно какого, оживило и преобразило их собрания и их сочинения, чья помпезная многозначительность столь разительно не соответствовала содержанию. Как ни мрачна тема моего «Уоррендера Ловита», который занимал тогда все мои мысли, никто не скажет, будто роману недостает живости. Думаю, однако, что читатель не поверит, узнав, какие беды обрушились на меня из-за мрачно-зловещего колорита романа; о них я, в частности, пишу в этой своей биографии, и писать-то ее, по-моему, стоит только для того, чтобы о них поведать.

Дотти сразу же пустилась вербовать друзей в «Обществе автобиографов». Она прониклась духом ностальгии, она ходила в жертвах, и ее сжигала потребность быть любимой. Ее искрен-

ность и неспособность отделять себя от других людей и чужих проблем приводили меня в ужас. Я предупреждала ее не раз и не два, делилась опасениями, что сэр Квентин задумал что-то недоброе. Дотти спросила:

— Ты внедрила меня в эту группу, преследуя свои цели?

— Да. Кроме того, я думала, что тебя это развлечет. Не втягивайся ты в их дела. Они все впадают в детство, и чем дальше, тем больше.

— Я помолюсь за тебя, — изрекла Дотти, — нашей Богородице Фатимской.

— *Твоей* Богородице Фатимской, — сказала я. Я хоть и верующая, однако сильно подозревала, что взгляды Дотти на религию по логике вещей должны отличаться от моих; вот почему много лет спустя, когда она театрально объявила, что утратила веру, у меня как-то полегчало на душе, поскольку мне не давала покоя одна мысль: если ее вера истинная, то, значит, моя — ложная.

Но сейчас в моей комнате, куда мы вернулись после собрания у сэра Квентина, Дотти сказала:

— Ты меня внедрила. Я за тебя помолюсь.

— Помолись за членов «Общества автобиографов», — сказала я.

Я считала Дотти подругой, почему — не знаю

сама. Думаю, она отвечала мне тем же, хотя по-настоящему я ей не нравилась. В те дни и в том кругу, где я вращалась, друзей посылало чуть ли не само провидение. Они просто-напросто были, как, скажем, зимнее пальто или скудные пожитки, и никому не могло прийти в голову отказаться от них только потому, что они не вполне симпатичны. В 1949 году жизнь на периферии интеллектуальных кругов была сама по себе целой вселенной. Чем-то она напоминала нынешнюю жизнь в странах Восточной Европы.

Мы сидели и разговаривали о собрании. На дворе стоял конец ноября. Я спорила с Дотти на всем пути до дома, в автобусе и в очереди перед продовольственной лавкой за чем-то, что Дотти успела углядеть, когда очередь только начала выстраиваться, и мы оказались десятыми, но чего нам все равно не досталось; впрочем, так или иначе наступило время закрытия, бакалейщик в коричневом фартуке запер дверь, щелкнув задвижкой, и мы пошли себе восвояси.

«Общество автобиографов» заставило ее забыть про Лесли. Никто из нас не видал его вот уже три с лишним недели. Как любовнику я решила дать ему отставку, что было нетрудно, хотя я привыкла к нему и скучала без его болтовни. Мое

равнодушие привело Дотти в бешенство — ей так хотелось, чтобы я любила Лесли, но не получила его; она считала, что я сбиваю цену на ее товар.

В тот день я в третий раз присутствовала на собрании автобиографов сэра Квентина с тех пор, как поступила к нему на службу. Пока что Дотти не предложила вниманию членов «Общества» собственных автобиографических записок. Впрочем, она написала пространную исповедь на тему о Лесли, его молодом поэте и своих страданиях по этому поводу. Но я порвала написанное и пылко предостерегла ее против откровенных признаний такого рода.

— Почему? — спросила Дотти.

Я не могла ей ответить. Я и сама не знала почему. Я сказала, что смогу объяснить, когда напишу еще несколько глав «Уоррендера Ловита».

— Какое отношение имеет одно к другому? — резонно заметила Дотти.

— Для меня это — единственный способ разобраться, что происходит в доме сэра Квентина. Я должна пропустить это через свое творческое воображение. Положись на мое чутье, Дотти. Я предупреждала тебя — не болтай лишнего.

— Но они мне нравятся, а Берил Тимс — просто душка. Сэр Квентин со странностями, но зато как

умеет подбодрить и утешить, разве нет? Совсем как священник в монастырской школе, где я училась девчонкой. И эта ужасная старуха, его мать, мне его жалко. Он по-настоящему добрый…

Я сидела с Дотти у себя в комнате и пыталась ясно представить всю картину. Тем временем Дотти приводила вполне ясные причины, почему она с головой впуталась в это дело, и у меня возникло предчувствие, что либо с нею, либо из-за нее случится беда.

— Если ты так настроена, — заявила Дотти, — тебе лучше уйти со службы.

— Но я уже впуталась. Мне нужно понять, что происходит. Тут пахнет аферой.

— Но ты не хочешь, чтобы я в это впутывалась, — возразила она.

— Не хочу, это опасно. Лично мне бы и в голову не пришло впутываться в…

— Сперва ты говоришь, что впуталась. Затем утверждаешь, что тебе бы и в голову не пришло впутываться. А дело в том, — сказала Дотти, — что я прекрасно со всеми лажу: и с сэром Квентином, и с членами, и с Берил, и тебе это не по нраву.

Она действительно прекрасно со всеми ладила. В тот день оставшиеся автобиографы собрались в полном составе — семь человек, считая Дотти.

Миссис Тимс немедленно отвела Дотти в сторонку и тут же, в прихожей, приглушенным голосом осведомилась, давал ли о себе знать ее супруг. Дотти с томным видом что-то пробормотала в ответ. Я была занята прибытием Мэйзи Янг, которая бодро управлялась со своей больной ногой, и пугливого отца Эгберта Дилени, однако слышала, как по ходу Доттиных откровений Берил Тимс время от времени отпускает фразочки типа «Свинья!», «Вот мерзость-то!», «Всех бы их на необитаемый остров» и т. п. Я попыталась увести Дотти, но она не собиралась идти со мной в кабинет, не закончив разговора с Берил Тимс. Мне пришлось покинуть общество двух Английских Роз и заняться своими делами.

За последние семь недель члены «Общества», сохранившие ему верность, увидели, как их биографии претерпели чудовищные изменения. В один прекрасный день — был конец октября — сэр Квентин произнес:

— Я нахожу, что дополнения, вносимые вами, мисс Тэлбот, в жизненные истории наших друзей, до сих пор бывали занятны и вполне компетентны, однако пришло время мне взять все в собственные руки. Я просто обязан. Это вопрос морали.

Возражать я не стала, но я всегда обнаруживала, что те, кто произносит «Это вопрос морали» отчетливым голосом и поджав губы, как то сделал сэр Квентин, подыскивают себе оправдания и, как правило, питают недобрые замыслы.

— Видите ли, — продолжал сэр Квентин, — наши друзья весьма откровенны, в большинстве своем весьма, весьма откровенны, но им неведомо чувство вины. По моему мнению…

Я перестала слушать. Для меня это была всего лишь работа. И я была только рада избавиться от необходимости тратить выдумку на то, чтобы оживлять смертельно скучные биографии. Подбиваемые сэром Квентином, автобиографы, за исключением Мэйзи Янг, продолжавшей распространяться о загробной жизни и единстве бытия, приступили к описанию своих первых любовных приключений. Я бы не стала называть их «откровенными», как слишком, пожалуй, часто называл их сэр Квентин. Достижения на этом поприще были пока что довольно скромные: накануне бегства миссис Уилкс из России в 1917 году какой-то солдат разодрал на ней блузку; баронессу Клотильду поймали в постели с учителем музыки на очаровательной французской вилле недалеко от Дижона; отец Эгберт Дилени, который брался за

перо не без известного трепета, на протяжении многих страниц все с тем же трепетом живописал нечистые мысли, посетившие его, когда он в первый раз принимал исповедь; леди Бернис «Гвардеец» Гилберт совершила вылазку в отрочество, посвятив большую главу своему не вполне невинному увлечению капитаншей хоккейной команды, каковой главе особо задушевную атмосферу придавали многочисленные описания закатов в Котсуолдских холмах. Что до робкого сэра Эрика, то здесь имело место увлечение соучеником по начальной школе-интернату, причем единственно достойным внимания во всей этой истории было то, что юный Эрик, обхаживая этого мальчика (как именно, он не уточнял), все время думал об актрисе, которая гостила у его родителей во время предыдущих каникул.

Сию скромную лепту сэр Квентин именовал с весьма недвусмысленным акцентом «откровенной», и это навязло у меня в зубах.

— Пришло время мне взять все в собственные руки. Это вопрос морали, — произнес он.

— Напрасно ты порвала мои записи, — сказала Дотти, когда мы сидели с ней у меня тем вечером в конце ноября. — Я готова была сквозь землю провалиться от стыда, что мне нечего предло-

жить на обсуждение.

— Ты, похоже, предложила всю историю Берил Тимс, — сказала я.

— Нужно же доверять хоть кому-то. Она настоящий друг. По-моему, просто срам, что ей приходится возиться с этой гнусной старухой.

За леди Эдвиной вот уже несколько недель ухаживала специально нанятая сиделка — тихая женщина, которую Берил Тимс не ставила решительно ни во что. Так что теперь старая дама, разумеется, перестала быть в тягость миссис Тимс и сделалась еще более необузданной и забавной. Я по-настоящему ее полюбила. На последнее собрание автобиографов, которое мы с Дотти сейчас пережевывали, Эдвина явилась вместе с чаем, одетая в бледно-серое бархатное платье и в жемчугах. Ее нарумяненные морщины и размазанная тушь для ресниц представляли удивительное зрелище. Вела она себя подчеркнуто любезно и сдержанно; только под занавес, когда сиделка на цыпочках проскользнула в комнату, чтобы увести ее, Эдвина, как это с нею бывало, разразилась долгим хихиканьем, заявив на прощанье:

— Ну, мои милые, он сделал с вами, что хотел, скажете нет? Ха! Мой сын Квентин не подведет.

Костлявым указательным пальцем правой

руки она ткнула в сторону Мэйзи Янг:

— Кроме вас. До вас он еще не добрался.

Мэйзи не могла отвести взгляда от указующего на нее красного ногтя.

— Матушка! — произнес Квентин.

Я посмотрела на Дотти. Она перешептывалась с Берил Тимс, кивая с видом умным и глубоко сочувственным.

Я не стала возражать Дотти, когда она, сидя в тот вечер у меня, без конца повторяла, до чего же ей жаль Берил Тимс, а Эдвину, по ее глубокому убеждению, давно пора отправить в дом престарелых. Мне показалось, что разобиженная Дотти старается меня спровоцировать. Я видела, что она устала. Не знаю почему, но я, помнится, редко уставала в те дни. Временами я, вероятно, должна была чувствовать себя измочаленной — трудно представить, что и в каких количествах мне приходилось совершать ежедневно; но я решительно не могу припомнить, чтобы хоть раз была такой вымотанной, какой в ту минуту выглядела Дотти.

Я заварила чай и предложила почитать ей отрывок из «Уоррендера Ловита». Я хотела развлечь и в известном смысле польстить Дотти, но в такой же степени преследовала и свои интересы:

после Доттиного ухода я собиралась написать еще несколько страниц, и чтение романа явилось бы своего рода разминкой.

Теперь я подошла к тому месту, где племянник Уоррендера Роланд со своей женой Марджери решают заняться разбором дядюшкиных бумаг, чтобы представить их Прауди, поскольку Пруденс, старая мать Уоррендера, распорядилась передать их в ведение ученого. Это происходит через три недели после скромных семейных похорон, состоявшихся за городом, которые я обстоятельно изобразила. Дотти уже слышала сцену похорон, написанную, по ее словам, «слишком холодно»; ее оценка меня не задела, напротив, я восприняла эту критику как хороший знак.

— Тебе не удалось донести всю трагедию гибели Уоррендера, — заявила Дотти, что также меня не задело. А эту новую главу я вообще написала с точки зрения Роланда. Последняя сводится к тому, что его дядя Уоррендер Ловит был великим человеком, чья жизнь трагически оборвалась в самом расцвете, — точка зрения, признанная всеми и ставшая общим местом. Племянник успешно превратил его в значительную фигуру.

Семейство, втайне упиваясь всеобщим сочувствием, рассчитывает, что Роланд с Марджери

добросовестно отнесутся к делу, вместе с Прауди разберутся в бумагах и подготовят в итоге памятное издание, что-нибудь вроде «Уоррендер Ловит в жизни и письмах»; что бы они ни сотворили, пусть это займет даже несколько лет, итог в любом случае обязательно будет встречен с интересом. Для Роланда, просматривающего бумаги покойника, это, конечно, печальный долг. Уоррендера Ловита, такого живого еще несколько недель назад, теперь нет — решительно и бесповоротно. Роланд хандрит, слегка взвинчен. Так почему же Марджери, до тех пор довольно нервная и склонная к унынию тридцатилетняя женщина, начинает понемногу оживать? После похорон ее вид и настроение с каждым днем заметно улучшаются. Прауди великолепно сознает, что Марджери снова счастлива.

Все это, конечно, грубый пересказ. Но когда я тем вечером читала в своей тесной комнате этот эпизод Дотти, было заметно, что ей он не нравится. Привожу отрывок, который в конце концов вызвал у нее возражения:

> «— Марджери, — спросил Роланд, — с тобой ничего не случилось?
>
> — Нет, ничего.

— Так я и думал, — заметил он.

— Ты вроде бы обвиняешь меня, — возразила она, — что со мной все в порядке?

— Что ж, в известном смысле — да. Смерть Уоррендера, похоже, никак на тебе не сказалась.

— Сказалась, и сказалась прекрасно, — заметил Прауди».

(В издательском экземпляре рукописи я заменила «сказалась прекрасно» на «еще как». Вероятно, я тогда слишком увлекалась Генри Джеймсом и сочла эпитет «прекрасно» очень уж вызывающим.)

Вот тут Дотти и не сдержалась:

— Никак не пойму, к чему ты клонишь. Твой Уоррендер Ловит — герой или нет?

— Герой, — сказала я.

— Тогда, значит, Марджери — стерва.

— Что ты несешь?! Марджери — персонаж, ее не существует на самом деле.

— Марджери — олицетворение зла.

— Какое еще олицетворение? — сказала я. — Марджери — всего лишь набор слов.

— Читатели любят знать, что к чему, — заявила Дотти. — А в этом романе ничего не поймешь.

Марджери только что не пляшет на могиле Уоррендера.

Дотти не была дурой. Я и сама знала, что не подсказываю читателям, на чью сторону становиться. Меня просто неодолимо влекло писать роман дальше, не подбрасывая читателю никаких оценок. В то же время Дотти подала мне мысль вставить ближе к концу книги сцену, когда Марджери пляшет на могиле Уоррендера.

— Знаешь, Флёр, — сказала Дотти, — есть в тебе что-то резкое. Женственности, что ли, в тебе маловато?

Тут уже я взвилась. Чтобы доказать, что я женщина, я порвала рукопись и выкинула ее в мусорную корзину, разревелась и выставила Дотти вон, грубо и шумно, так что мистер Александер выразил, перегнувшись через перила, свое неудовольствие.

— Убирайся! — орала я на нее. — Ты и твой муж на пару сгубили мой роман и мои стихи.

После этого я легла в постель и умиротворенно уснула.

Наутро, выудив из корзины порванные страницы «Уоррендера Ловита» и аккуратно их склеив, я отправилась на службу, заглянув по дороге в Кенсингтонскую публичную, чтобы взять на

абонемент давно обещанное Мэйзи Янг «Оправдание» Джона Генри Ньюмена. За столько-то времени она при всем своем увечье прекрасно могла бы достать эту книгу, но она принадлежала к той породе людей, отнюдь не всегда малообразованных, которые вечно задаются вопросом, где бы да как бы разжиться нужной книгой. Ведь отлично знают, что туфли продаются в обувном магазине, а бакалея — у бакалейщика, но вот найти книжную лавку и заглянуть туда им как-то не приходит в голову.

Я, однако, была расположена к Мэйзи Янг и надеялась, что страницы высокой автобиографии Ньюмена хотя бы в чисто духовном плане обратят ее мысли к милому миру людей из плоти и крови. А в обращении такого рода Мэйзи нуждалась.

Отыскав Ньюмена на стеллаже, я, раз уж оказалась в этом отделе, пробежала глазами по полкам и зажглась, обнаружив другую книгу, которой не видела долгие годы. Это была «Жизнь Бенвенуто Челлини». Я будто встретила старого друга. Взяв оба тома, я, столь счастливая, пошла своей дорогой.

4

Где-то в конце ноября я стала брать Эдвину на воскресные прогулки, так что вопрос, что с нею делать, когда у сиделки бывал выходной, а миссис Тимс сопровождала сэра Квентина за город, отпал сам собой. Меня такой расклад вполне устраивал, потому что, во-первых, Эдвина мне нравилась, а во-вторых, она легко вписалась в мою жизнь. В хорошую погоду я обычно заезжала за ней на такси, из которого затем пересаживала ее в раскладное кресло-коляску, и мы прогуливались вдоль опушки Хампстед-Хита[12] вместе с моим другом, моим дорогим Солли Мендельсоном, после чего заходили выпить чаю в кафе или к нему домой. Солли работал в редакции какой-то газеты, причем исключительно в ночную смену, так что виделись мы почти всегда днем.

При Эдвине можно было говорить о чем угодно; все, что мы делали или о чем болтали, приводило ее в восторг, что было весьма кстати, поскольку Солли, расслабляясь душою с друзьями, любил припечатать крепким словцом определенные

[12] Примечания: 12
Лесопарк в северной части Лондона.

стороны жизни, хотя человек он был милейший и с сердцем щедрее не встретишь. Поначалу, из почтения к возрасту леди Эдвины, Солли еще следил за собой, но скоро он ее раскусил.

— Вы, Эдвина, своя в доску, — сказал он.

Война наградила Солли хромотой; шли мы медленно, толкая перед собой кресло, и по дороге часто останавливались, когда желание передохнуть странным образом совпадало у нас с таким поворотом беседы, который требовалось подчеркнуть и физической остановкой. Так случилось, когда я рассказала ему, что Дотти не перестает ругать моего «Уоррендера Ловита» и я уже жалею, что вообще начала ей его читать.

— Тебе нужно сходить к психиатру, — сказал Солли, припадая на больную ногу. Он был массивный мужчина с крупной головой семита — настоящей находкой для скульптора. Остановившись, он повторил: — Тебе нужно сходить к психиатру, раз ты обращаешь внимание на эту глупую тварь.

После чего взялся за ручку кресла со своей стороны, и мы тронулись дальше. Я сказала:

— Для меня Дотти — что-то вроде среднего читателя.

— К чертям среднего читателя, — возразил Сол-

ли, — ибо в действительности никакого среднего читателя не существует.

— Правильно! — возопила Эдвина. — К чертям среднего читателя, вот именно. Нету такой особы.

Я любила быть ясной. Пока Дотти воспринимала смысл написанного, меня не тревожило, нравится ей это или нет. Во всех своих оценках она оставалась Английской Розой, мы часто ругались, но она, разумеется, была моей подругой и всегда возвращалась выслушать очередную порцию. Свой роман я также читала Эдвине и Солли.

— Помню, как я заходилась от смеха, — сообщила Эдвина, срываясь на высокие ноты, — над сценой заупокойной службы, которую «Общество богобоязненных рыботорговцев» заказало по Уоррендеру Ловиту.

Несколько прохожих обернулись поглядеть на Эдвину, услышав ее кряканье. Люди часто оборачивались поглазеть на ее накрашенные морщины, зеленые зубы, воздетый кроваво-красный ноготь, подрагивающий в такт визгливому голосу, и роскошные меха, в которые все это было по горло укутано. Ей перевалило за девяносто, и она могла в любую минуту умереть, что и сделала

через шесть лет после описываемых событий. Мой дорогой, самый мой дорогой Солли вступил в семидесятые годы нынешнего века, но тогда я была далеко. Заболев смертельным недугом, он начал посылать мне из своей библиотеки кое-какие книги, про которые знал наверняка, что мне они придутся особенно по душе.

Одна из этих книг возвратила меня сквозь годы в зимний Хампстед-Хит — редкое издание «Apologia pro Vita Sua» Джона Генри Ньюмена; другая — итальянский том в зеленом с золотом переплете — сочинение моего любимого Бенвенуто Челлини.

«Questa mia Vita travagliata io scrivo…»[13]

Я вспоминаю Солли, само обаяние, на этих прогулках по Хампстеду с нашей Эдвиной, всегда охотной статисткой в нашей общей жизненной драме; Эдвиной, сопровождающей мои с Солли разговоры и споры по разному поводу своим карканьем — наподобие хора в греческой трагедии. Я еще не закончила «Уоррендера Ловита», а Солли уже нашел в Уоппинге какого-то захудалого

---

[13] Примечания: 13

«Я Жизнь мою мятежную пишу…» *(итал.).* — Здесь и далее отрывки приводятся по изданию: *Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции.* М., ГИХЛ, 1958. Перевод М. Лозинского.

издателя с редакцией в пакгаузе, и тот, ознакомившись с двумя первыми главами, был готов заключить со мной договор и выложить десять фунтов аванса. Вспоминаю, как во время одной из прогулок мы с Солли этот договор обсуждали. Стоял сухой ветреный день. Мы остановились, чтобы Солли мог изучить сей документ, занимавший одну страничку. Она трепыхалась у него в руке.

— Скажи ему, пусть подотрется этой бумажкой, — сказал Солли, возвращая мне договор. — Не подписывай.

— Да, да и еще раз да! — взвизгнула Эдвина. — Скажите этому издателю, пусть подотрется своим договором, и все.

Я отнюдь не жаловала непристойности, но сочетание всего этого — атмосферы Хита, погоды, кресла-коляски, а также Солли и Эдвины в их первозданной сущности — сообщило их словам особую для меня поэтичность, и я почувствовала себя очень счастливой. Мы вкатили Эдвину в кафе, где она разливала чай и вела беседу самым учтивым и благородным образом.

Время — где-то в середине декабря 1949 года. Я просидела над «Уоррендером Ловитом» уже много вечеров, и на периферии сознания начала маячить тема моего нового романа. Я мечтала о

такой сумме денег, какая позволила бы уйти со службы, но, пока я не получила достаточный куш от издателя, это было невозможно.

И еще одно соображение. Работа у сэра Квентина раздразнила мое любопытство. Происходившее у него вполне и все еще могло бы влиять на моего «Уоррендера Ловита» — но не влияло. Скорее, напротив, мне забрезжило, чего именно добивается сэр Квентин, уже после того, как я окончила книгу в январе 1950 года.

В конце января 1950 года я начала замечать у всех членов «Общества» признаки вырождения.

Две недели я валялась с гриппом и не ходила на службу. Сразу же после Нового года грипп уложил Дотти, и я проводила у нее большинство вечеров, чувствуя, что мне суждено от нее заразиться. Не уверена, что мне этого не хотелось. В те первые недели января, когда я каждый день после работы отправлялась к Дотти с покупками и разными мелочами, в которых она нуждалась, туда часто наведывался Лесли. Он уже перебрался от Дотти к своему поэту. Но грипп почему-то подействовал на Дотти как сильное успокаивающее, несколько приглушив в ней Английскую Розу. Она не позволяла говорить Лесли, что молится за него, хотя и взяла к себе в постель свои детские игрушки

— мишку, несколько кукол и негритенка, разместив их на той половине, где раньше спал Лесли. Она всегда сажала эти игрушки на кровать под покрывало, что, как я знала, действовало Лесли на нервы. Однако теперь, когда она лежала больная, он, видимо, решил быть снисходительным, потому что иной раз приносил ей цветы. Мы ни в чем друг друга не упрекали и весело катались по толстому льду; я же все пыталась понять про себя, чем меня привлекал Лесли, — настолько поувяла в моих глазах его красота, по крайней мере в смысле мужественности. Тем не менее мы были счастливы. Дотти даже ухитрилась посмеяться кое над чем из того, что я рассказывала про сэра Квентина, хотя в глубине души относилась к «Обществу автобиографов» со всей серьезностью.

Теперь, когда наступил мой черед поболеть, я со своей высокой температурой целые дни проводила в постели и строчила «Уоррендера Ловита». Грипп дал мне чудесную возможность завершить книгу. Я работала, пока не начинало ломить руку и в шесть вечера не появлялась Дотти с супом в термосе или тоненькими ломтиками бекона, которые она жарила на моей газовой конфорке и заботливо разрезала на мелкие кусочки, чтобы мне было легче глотать. После болезни она

похудела, и несколько прядей, оторвавшись от восходящей волны ее красивых волос, свисали вниз, так что в ней стало меньше от Английской Розы — на время. Пока меня не было, она ходили помогать на Халлам-стрит.

— Дотти, — сказала я, — к сэру Квентину просто нельзя относиться всерьез.

— Берил Тимс в него влюблена, — заявила она.

— О боже, — сказала я.

До прихода Дотти я как раз работала над той главой «Уоррендера Ловита», где из писем моей героини Шарлотты становится ясно, насколько она в него влюбилась, — настолько, что была готова извратить инстинкт самосохранения, вернее, напрочь забыть о его существовании, лишь бы снискать одобрение Уоррендера и поддержать в нем немного интереса к своей особе. Шарлотту, эту выдуманную мной Английскую Розу, позднее сочли одним из самых отвратительных моих образов. Но что мне за дело до этого? Я задумала ее в те лихорадочные дни и ночи, когда приступы гриппа грозили перейти в плеврит, и ни разу не пожалела, что сотворила Шарлотту. Не для того я писала стихи и прозу, чтобы вызвать к себе симпатии читателя, а для того, чтобы составленные мною фразы заставили других проникнуться

истиной и благоговением точно так же, как я сама проникалась, когда их сочиняла. Не вижу причин скрывать, что, работая, я наслаждалась звуком собственного голоса. Я не умалчиваю о вещах, имеющих отношение к моему ремеслу.

Итак, историю Уоррендера Ловита я писала пером легким и безжалостным, как это мне свойственно, когда повествование требует абсолютной серьезности. О чем бы ни вел речь автор, но если он при этом делает вид, будто обуреваем трагическими переживаниями, такое мне кажется сродни ханжеству — на самом-то деле он спокойненько сидит себе с пером в руке или за пишущей машинкой. Я получала наслаждение от Пруденс, матери Уоррендера, и ее кладбищенских прибауток; я заставила ее передать бумаги сына американскому ученому Прауди, который кажется ей смешным. Я добивалась своего от эпизода к эпизоду: очевидное освобождение Марджери от какого-то гнетущего страха после смерти Уоррендера, что вызывает неодобрение у ее мужа Роланда с его круглым личиком и преклонением перед мертвым дядюшкой; затем постепенно находятся письма и заметки, оставшиеся от Уоррендера Ловита; складываясь по ходу повествования в единое целое, они в конце

концов неопровержимо доказывают то, к чему я исподволь подготавливала читателя, — что Уоррендер Ловит в душе был помесью садиста с пуританином и ублажал себя тем, что, собрав кружок из людей заведомо глупых и слабых, планомерно растил и пестовал в них чувство чудовищной воображаемой вины. В романе об этом сказано так:

> «Разумеется, о закрытых молитвенных собраниях у Уоррендера было известно, но не более того, что они представляют собой слишком деликатную тему, чтобы обсуждать их на людях. Уоррендер окружил себя столь возвышенными легендами, что никто не рисковал соваться в его жизнь из страха прослыть вульгарным».

Итак, он считался мистиком и пользовался славой одного из столпов высокой церкви[14]; выступал в университетах; его письма печатала «Таймс». Одному богу ведомо, откуда я поза-

---

[14] Примечания: 14

Направление англиканской церкви, тяготеющее к католицизму; придает большое значение авторитету духовенства, таинствам, обрядности и т. п.

имствовала образ Уоррендера Ловита; из моих знакомых никто не мог быть его прототипом.

Знаю только, что в тот вечер, когда я начала писать свой роман, я в одиночестве ужинала в ресторанчике неподалеку от станции подземки «Кенсингтон-Хай-стрит». Одна я редко выбираюсь в рестораны, но в тот день у меня, верно, завелись деньги. Я занималась своим прямым делом — ела и прислушивалась к разговору за соседним столиком. Кто-то сказал: «Значит, все мы там собрались в гостиной и ждем, когда он появится». Этого было достаточно. Так начался «Уоррендер Ловит», Первая глава. Все остальное возникло из этой фразы.

Но моего Уоррендера я снабдила армейским прошлым, отправив воевать в Бирму, где он дошел до высоких чинов, причем все это получилось у меня вполне убедительно, хотя собственно войну я дала несколькими мазками — о войне в Бирме я на самом деле имела очень смутное представление. Потом я поражалась, узнавая, что читатели находят армейскую карьеру Уоррендера обрисованной убедительно и полно, в то время как у меня о ней так мало сказано; один ветеран, действительно воевавший в Бирме, написал мне, до чего это правдиво; но с тех пор я и сама вы-

яснила, что в искусстве письма малое передает многое, а многословие, с другой стороны, может не выразить почти ничего.

Нигде в романе я не даю побуждений Уоррендера — я всего лишь показываю, к чему приводят его слова, намеки. Подлинное раздвоение его личности заключалось в том, что на людях он держался строгих правил высокой церкви, а в узком кругу был настоящим сектантом. На молитвенных собраниях он выступал библейским фундаменталистом — и не безуспешно: склонил, например, одного из членов своей секты уйти с хорошего местечка в Военном министерстве, как тогда именовалось Министерство обороны, продать нажитое, дабы накормить бедных, а под конец в туманную ноябрьскую ночь помереть на садовой скамейке. Всё — к вящему удовлетворению Уоррендера. Но сам он, как четко явствует из романа, воспринимал христианство в куда более развитом и практическом смысле. «Склонил», пожалуй, тут не самое подходящее слово. Он погонял и устрашал Словом Божиим. Я показала, что его главными жертвами стали четыре участницы молитвенных собраний — он был закоренелым женоненавистником. Одна покончила с собой, устав бороться с представлениями о своей вине,

которые он ей внушил, и уверенная, что у нее не осталось друзей; две другие сошли с ума, в том числе экономка Шарлотта, порабощенная им Английская Роза. Жена его племянника Марджери была на краю гибели, когда сам Уоррендер погиб в автокатастрофе. Все эти годы критики задаются вопросом, а не был ли Уоррендер влюблен в своего племянника. Откуда мне знать? Уоррендер Ловит никогда не существовал, он — всего лишь столько-то сотен слов, столько-то знаков препинания, предложений, абзацев, букв на странице. Если бы я задумала сделать побуждения Уоррендера Ловита предметом психологического исследования, я бы ответила. Но в побуждения своих персонажей я не вникала и не вникаю.

Той зимой я заполняла страницы, подкладывая под бумагу перевернутый поднос, чтобы поскорее закончить «Уоррендера Ловита», — даже на одре болезни, когда грипп дал осложнение на бронхи и грозил мне плевритом. Я охрипла и была не в состоянии читать роман навещавшей меня Дотти. Но когда, заговорив о сэре Квентине, она заявила: «Берил Тимс в него влюблена», я, пылая от жара, села в постели и охнула «Боже мой!». Чтобы кто-то мог влюбиться в Квентина Оливера — такое в голове не укладывалось.

5

Я заметила признаки вырождения у членов «Общества автобиографов» именно в конце января 1950 года, через неделю после того, как закончила книгу. Из-за гриппа я чувствовала себя неважно, но радовалась жизни, оставив завершенный труд за плечами. Я не особо надеялась на успех «Уоррендера Ловита», однако уже замыслила книгу получше. Солли подыскал другого издателя вместо того, чей договор облил тогда таким презрением. Новым издателем оказался пожилой человек по имени Ревиссон Ланни. Голова у него была круглая, лысая и сияющая — из тех, какие обязательно хочется погладить, когда их владельцы садятся впереди в театре или церкви. Он сказал, что «Уоррендер Ловит», по его мнению, «роман довольно зловещий, особенно в местах легкомысленных», и что «нынешняя молодежь духовно больна», однако, как он полагает, фирма может издать книгу себе в убыток, рассчитывая со временем получить от меня что-нибудь получше. Он вручил мне лист с отпечатанным текстом, как он выразился, договора по принятой

форме, и договор этот был не так уж и плох, хотя и не очень хорош. Правда, как я позже установила путем личного шпионажа, у его фирмы «Парк и Ревиссон Ланни» имелся печатный станок, на котором они оттискивали для каждого автора, с учетом того, сколько можно с него урвать, индивидуальный «договор по принятой форме». Но Ревиссон Ланни подкупил меня, рассказав забавный случай из своей юности. Он служил посыльным в литературном еженедельнике, и его как-то послали на станцию подземки «Холборн» встретить У. Б. Йейтса:

— Вижу мужчину в черной накидке. Спрашиваю: «Вы — поэт мистер Йейтс?» Он остановился, воздел руки и произнес: «Поэт!»

Но эти дела относились к области прошлого, и я, подписав договор, распрощалась с Ревиссоном Ланни до новой встречи. «Уоррендер Ловит» должен был выйти в июне, и мне оставалось лишь дождаться гранок. В конце января я снова начала ходить на службу к сэру Квентину и, можно сказать, думать забыла про этот роман.

Гранки пришли в марте, и, снова встретившись с «Уоррендером Ловитом», я, оказывается, так от него отвыкла, что не смогла заставить себя читать гранки на предмет опечаток. Вместо

этого мы с Солли в один прекрасный день отправились в Сент-Джонс-Вуд навестить знакомую супружескую пару: Тео и Одри; каждый из них уже опубликовал свой первый роман и, стало быть, занимал в нашей литературной иерархии более высокое место, чем мои непечатавшиеся знакомые, с которыми я обычно встречалась на поэтических чтениях в Этикал-Чёрч-Холле. Тео и Одри согласились прочесть за меня гранки. Я наказала им ничего не менять, только исправить орфографические ошибки.

И отдала им гранки романа.

Добрые они были люди.

— Ты будто чего боишься, — заметил Тео. — В чем дело?

— Она и в самом деле боится, — сказал Солли.

— Боюсь, — сказала я, но не стала ничего объяснять.

— Служба действует ей на нервы, — сказал, как отрезал, Солли.

Когда мы собрались уходить, Одри вручила мне сверток с оставшимися от чая булочками и бутербродами.

За два месяца, прошедших с конца января, члены кружка сэра Квентина чем далее, тем больше напоминали мне разбомбленные остовы зданий,

что все еще портили перспективу лондонских улиц. С каждым месяцем руины ветшали — как и наши автобиографы.

Дотти этого не замечала.

— Вы и *вправду* думаете, что миссис Уилкс в здравом рассудке? — спросил меня сэр Эрик Финдли.

Я сочла за благо ответить:

— Если бы знать, что это такое — здравый рассудок.

У него был испуганный вид. Позавтракав, мы пили кофе в дамской гостиной клуба «Бани», который после пожара переехал в помещение другого клуба — по-моему, «Консерваторов».

— Что такое здравый рассудок? Вот, скажем, у вас, Флёр, здравый рассудок, и все это знают. Дело в том, что на Халлам-стрит поговаривают… Вам не кажется, что всем нам давно пора выяснить отношения друг с другом? Один хороший скандал предпочтительней того, что с нами сейчас происходит.

Я сказала, что меня не прельщает мысль об одном хорошем скандале.

Сэр Эрик помахал рукой, кротко приветствуя средних лет мужчину и женщину, что вошли и заняли места на диване в противоположном кон-

це комнаты. К ним не замедлили присоединиться другие. Сэр Эрик делал ручкой и раскланивался в их сторону со свойственным ему робким видом, словно жестикулируя по ходу приятной беседы о Лондонском филармоническом оркестре, о розыгрыше Челтнемского золотого кубка[15] или даже о моей привлекательности — вместо нашего неприятного разговора о том, что стряслось с «Обществом автобиографов». Я жалела, что природа не наградила меня дурным глазом, чтобы я могла сглазить Эрика Финдли в отместку за дурацкие жалобы, с какими он ко мне полез, пригласив на завтрак в свой клуб.

— Один хороший скандал, — говорил он с блеском в робких глазках. — Миссис Уилкс утратила здравый рассудок, но вы, Флёр, своего не утратили, — заявил он, словно в этом кто-то сомневался.

На меня напал страх, но я знала, что могу с ним справиться. Я понимала, что нужно спокойно застыть, как при появлении опасного зверя. Ко мне возвратилась атмосфера «Уоррендера Ловита», но гротескно сгущенная, без размеренных интонаций романа. Когда я начала писать, мне

---

[15] Примечания: 15
Приз победителю ежегодных скачек на ипподроме в г. Челтнеме.

говорили, что я преувеличиваю в своих книгах. Никаких преувеличений в них отроду не бывало, а только различные оттенки реализма. Сэр Эрик Финдли был сама реальность, когда сидел со мной на диванчике и жаловался, что миссис Уилкс не сумела по достоинству оценить последний кусок его автобиографии с описанием военной службы и, значит, потеряла рассудок. Миссис Уилкс, сказал он, только и думает, что про ту дурацкую школьную историю, когда он был с другим мальчиком, а думал об актрисе.

— Миссис Уилкс твердит про это как заведенная, — сказал Эрик.

— Не надо было об этом писать, — сказала я. — Автобиографии — вещь опасная.

— Ну, Флёр, многие из них — ваших рук дело, — заметил он.

— Но не опасные признания. Только смешные куски.

— Сэр Квентин требует, — сказал он, — полной откровенности.

Он показал на крохотный кусочек сахара у меня на кофейном блюдечке. Нет, сказала я, не хочу. Он опустил сахар в маленький конверт, что носил при себе для таких случаев, и спрятал в карман.

— Говорят, карточки на сахар отменят через три

месяца, — сообщил он возбужденным шепотом.

В тот же вечер я услыхала от Дотти:

— Вполне понимаю Эрика. Миссис Уилкс помешалась на сексе. Не верю я, что ее до бегства из России изнасиловал солдат. Она выдает желаемое за действительное.

— Мне все равно, кто из вас что сказал или сделал. Просто мне обрыдли все эти сплетни, подначки, интриги среди пакостников-автобиографов.

— Сэр Квентин требует полной откровенности, и, по-моему, так нам всем нужно быть друг с другом откровенными, — заявила Дотти.

Я поглядела на нее, словно видела первый раз в жизни.

Мэйзи Янг разыскала мою нору и как-то в воскресенье пришла ко мне — это было за несколько дней до завтрака с сэром Эриком Финдли. Как выяснилось, она тоже явилась с жалобами, хотя сперва даже не хотела входить в комнату — она заглянула на минутку возвратить книгу и внизу де ее ждет такси. Такси мы отпустили.

— Что за восхитительная комнатка-крохотулечка, — сказала Мэйзи, — такая игрушечная.

Сама она занимала лучшую половину дома

на Портман-сквер, а другую половину сдавала жильцам. Думаю, ее ошеломила захламленность комнаты, где проходила вся моя тогдашняя жизнь; ее поразило, как это человек выкраивает место для умственного труда, если приходится существовать в обществе газовой конфорки для стряпни, дивана-кровати для сидения и спанья, оранжевой коробки под продукты и посуду, таза для постирушек, стола, чтобы за ним есть и на нем писать, пары стульев, чтобы на них сидеть или, как случилось в тот момент, развешивать стиранное белье, углового шкафчика для одежды, стен, увешанных книжными полками, и пола, уставленного стопками книг, которые мешали ходить. Все это Мэйзи, державшая сумочку, как поводья, вобрала в себя, обведя комнату таким ошарашенным взглядом, точно ее только что вторично сбросила лошадь. Одна лишь доброта, думается, заставляла ее повторять:

— Игрушечная, игрушечная, и в самом деле… в самом деле… Я не знала, что можно встретить такое.

Я убрала белье с одного из двух стульев и усадила Мэйзи, подсунув два тома «Британской энциклопедии» и полного Чосера вместо скамеечки под ее бедную, заключенную в клетку ногу,

как я делала для Эдвины и для Солли Мендельсона, когда они меня навещали. Мэйзи любезно приняла мои хлопоты. Я села на диван и улыбнулась.

— Я хотела сказать, я не знала, что такое можно встретить в Кенсингтоне, — пояснила Мэйзи. — То есть в Кенсингтоне в наше время. Так вы сюда привозите леди Эдвину?

Я сказала: да, иногда, и занялась приготовлением чая — к повторному изумлению Мэйзи в Стране Чудес, так что мне пришлось ее уверять, что у меня нередко бывает за раз много гостей, человек пять-шесть и даже больше.

— Как вы сами-то ухитряетесь быть такой чистенькой? — спросила Мэйзи, глядя на меня другими глазами.

— Тут на каждом этаже ванная. Принять ванну — четыре пенса.

— Всего-то?

— Более чем достаточно, — сказала я и объяснила ей, как домовладельцы наживаются на пенсовых счетчиках в ванных и шиллинговых в комнатах, потому что газовая компания выплачивает им разницу при каждом очередном расчете, жильцы же этих денег не видят.

— Полагаю, — заметила Мэйзи, — домовладель-

цам тоже причитается своя доля прибыли.

Я поняла, на чьей она стороне, и, хотя она обвела комнату вопрошающим взглядом, не стала просвещать свою гостью относительно квартплаты, дабы не услышать восклицания о ее чудовищной дешевизне.

— Сколько книг — и вы их все прочитали? — спросила она.

При всем том она мне очень нравилась. Просто грубые факты нищенского житья были ей неизвестны, как, впрочем, и большинство прочих фактов, а не то чтобы она стремилась произвести впечатление. Итак, Мэйзи поудобнее устроилась с чашкой чая и печеньем и приступила к тому, с чем пришла.

— Отец Эгберт Дилени, — заявила моя красавица гостья, — считает, что Сатана — это женщина. Он чуть ли не в открытую сказал мне об этом. Думаю, его следует попросить выйти из «Общества». Он наносит оскорбление женщинам.

— Похоже на то, — сказала я. — Вот вы его и попросите.

— А мне кажется, что именно вам, Флёр, как секретарю, нужно поговорить с ним и доложить о результатах сэру Квентину.

— Но если я ему заявлю, что Сатана мужского

пола, он решит, что это наносит оскорбление мужчинам.

Она заметила:

— Я лично не верю в существование Сатаны.

— Вот и прекрасно, — сказала я.

— Что прекрасно?

— Раз Сатаны не существует, так не все ли равно, в каком роде о нем говорить?

— Но мы-то говорим об отце Дилени. Знаете, что я думаю?

Я спросила, что же она думает.

— Отец Дилени и есть Сатана. Собственной персоной. Вам следует обо всем доложить сэру Квентину. Сэр Квентин требует полной откровенности. Пришло время раскрыть карты.

И все равно Мэйзи Янг мне нравилась — в ней чувствовалась свобода, о которой она и не подозревала; к тому же, сидя вот так у меня в комнате, она напомнила мне Марджери из «Уоррендера Ловита». Но в ту минуту я не стала задерживаться на этом сходстве — я раздумывала над словами «Сэр Квентин требует полной откровенности». Они запали мне в голову, и, когда через несколько дней сэр Эрик дважды повторил их в своем клубе, я убедилась, что сэр Квентин Оливер уже задал тему своему оркестру из кретинов автобиогра-

фов. Но тогда, когда мы с Мэйзи сидели у меня в комнате, ее «Сэр Квентин требует…» всего лишь вызвало у меня раздражение.

— Полная откровенность — вечная ошибка среди друзей, — сказала я.

— Понимаю, что́ вы имеете в виду, — сказала Мэйзи. — Вы даете понять, что рады меня видеть, хотя вам и не нравится, что я к вам пришла. Для вас я всего-навсего калека и зануда.

Я ужаснулась: не успела она отнести на собственный счет сказанную мной общую фразу, как и впрямь превратилась в жуткую зануду, притом не только на это время, но на близкое и далекое будущее, и от такого представления о будущей Мэйзи у меня внутри все оборвалось. За одно мгновение она, казалось, утратила всю свою свободу, о которой, скорее всего, так бы никогда и не догадалась. Я сказала:

— Ну, Мэйзи, ничего я такого не думала. Я говорила в общем смысле. Откровенность, как правило, эвфемизм для обозначения грубости.

— Нужно быть откровенной, — сказала несчастная девушка. — Я знаю, что я калека и зануда.

Я молилась, чтобы зазвонил телефон или хоть кто-нибудь завернул ко мне, но телефон молчал, и никто не пришел в эту минуту. Я пробормота-

ла что-то в том смысле, что физическое увечье нередко привлекает к себе. Она резко возразила, что предпочла бы воздержаться от обсуждения ее интимной жизни. Это положило конец откровенности с моей стороны.

Тут Мэйзи взяла в руки книгу, которую пришла мне возвратить, — взятый в библиотеке томик «Оправдания» Джона Генри Ньюмена.

— Сэр Квентин одолжил мне свой экземпляр, — сказала Мэйзи.

Она смотрела на меня, но меня не видела. На какой-то миг я сама себе показалась серым вымыслом, «я» повествования от первого лица, чья внешность, по мнению романиста, не заслуживает описания. Понятно, я все еще не успела оправиться после гриппа. Мэйзи полистала «Оправдание» и нашла место, которое хотела мне прочитать. В этом отрывке — он где-то в самом начале книги — Ньюмен рассказывает о своих детских религиозных переживаниях. Ему мнилось тогда, что он избран для славы вечной. Сама вера в такое избранничество, как он пишет, постепенно поблекла, однако успела повлиять на его воззрения в ранней юности, «…а именно: обособив от вещей окружающих, укрепив в недоверии к реальности материальных явлений

и утвердив в представлении о двух — исключительно двух — верховных и ослепительно самоочевидных существованиях — моем и моего Создателя…»

Окончив читать, Мэйзи произнесла:

— Я считаю, что это очень, очень прекрасно и так истинно.

Теперь я разозлилась. Меня разбередило сознание того, что последние три с половиной года я потратила на изучение Ньюмена, его проповедей, его эссе, его жизни и его теологической системы, причем сделала это безвозмездно, пожертвовав удовольствиями и радостями, каких мне в жизни больше не выпадет, тогда как Мэйзи до своего несчастного случая тратила время на выезды в свет да на верховые прогулки в парках загородных поместий, возвращенных правительством с окончанием войны их прежним владельцам, а после несчастного случая — на разработку вместе с друзьями своих совершенно диких теорий Космоса. Отказ от удовольствий, конечно, уже сам по себе — удовольствие, но сей неопровержимый довод в тот раз как-то ускользнул от меня; то, что Мэйзи прочла вслух этот широко известный отрывок из Ньюмена и сообщила мне, как это прекрасно и истинно, вызвало у меня сильней-

шее раздражение. Я сказала:

— Ньюмен описывает переходную ступень.

— О нет, — возразила Мэйзи, — эта мысль проходит через всю книгу: о двух — исключительно двух — верховных и ослепительно самоочевидных существованиях — моего Создателя и моем.

И вдруг я поняла, что в определенном смысле она права, и весь замысел с Ньюменом, до тех пор казавшийся мне восхитительным, предстал передо мною в новом свете. До тех пор я питала к этому отрывку любовь верную и особую, будучи страстно убежденной в его силе и пригодности в качестве общечеловеческого идеала. Но по мере того, как Мэйзи произносила слово за словом, мне открывалось в нем чудовищное безумие, и я почувствовала отвращение, «...в недоверии к реальности... о двух — исключительно двух — верховных и ослепительно самоочевидных существованиях — моем и моего Создателя...» Я порадовалась, что у меня крепкие берцовые кости и надежная грудная клетка, а то откровение, подобно взрыву, разнесло бы меня на куски. Но я услышала свой сдержанный голос:

— От такого взгляда на жизнь отдает неврастенией. Это не более чем поэтический образ. Ньюмен был романтиком девятнадцатого века.

— Представьте себе, — заявила она, — еще живы те, кто помнит кардинала Ньюмена. Его считали ангелом.

— По-моему, — сказала я, — ужасна сама мысль о мире, в котором только два ослепительных и самоочевидных существования — своего создателя и свое собственное. Нельзя понимать Ньюмена в таком ключе.

— Это прекрасная мысль, очень прекрасная…

— Я жалею, что вообще посоветовала вам прочитать «Апологию». Это прекрасный образчик поэтической паранойи.

Разумеется, я упростила и передернула, но, чтобы опровергнуть идеи Мэйзи, мне было не обойтись без риторики.

— Первым упомянул мне про Ньюмена отец Эгберт Дилени, — сказала она. — Не представляю, чтобы этот гнусный тип мог по достоинству оценить эту книгу. Но верно и то, что вы тоже настоятельно всем нам советовали прочесть ее как образец автобиографии.

— Существование отца Эгберта Дилени для меня самоочевидно и ослепительно, — сказала я. — Как и ваше, и моего паршивца домохозяина, и всех моих знакомых. Нельзя жить с господом на «ты» и при этом сомневаться в подлинности всей

остальной жизни.

— Вы рассказали сэру Квентину про свои взгляды? — спросила Мэйзи. — Потому что, — пояснила она, — сэр Квентин требует полной откровенности. Он сообщил, что всем нам предстоит изучить «Оправдание» как образец автобиографической прозы.

К этому времени я уже успокоилась и размышляла о том, от скольких неоплаченных сверхурочных я себя избавила, забыв напомнить им о Прусте с его придуманной автобиографией. Мне хотелось отделаться от Мэйзи и забыть про «Общество автобиографов» хотя бы до понедельника. Все они со своим сэром Квентином были листками бумаги, на которых я могла писать рассказы, стихотворения, все что угодно. Охваченная нетерпением и жаждой работы, я сказала Мэйзи, поглядев на часы, что мне нужно еще позвонить: «Силы небесные, опоздала!» — с этими словами бросилась к телефону и заказала номер Дотти. Ее не было дома. Я повесила трубку и сказала Мэйзи:

— Боюсь, упустила знакомую.

Она сидела, глядя в пространство, словно в каталептическом припадке, не обратив внимания на суету со звонком. Я решила, что ей нехорошо, но

тут она заговорила как бы в трансе, и это навело меня на мысль, что она разыгрывает спектакль:

— Отец Эгберт Дилени — воплощение Сатаны. Вы мне поверите, Флёр, когда я скажу, что́ он о вас говорил.

Я сразу насторожилась:

— Что же он обо мне говорил?

Она снова погрузилась в прострацию. Я понимала, что выспрашивать ее сейчас глупо, но меня одолело смертельное любопытство.

Наконец она сказала:

— Ваш преподобный Эгберт Дилени, которого вы так ревностно защищаете, говорит, что вы обхаживаете леди Эдвину, чтобы она изменила завещание в вашу пользу. Он говорит, что Берил Тимс в этом убеждена. Вообще-то многие убеждены.

Я рассмеялась вымученным смехом — надеюсь, она не заметила.

— Отец Эгберт Дилени, — продолжала она, — говорит, что в противном случае вы бы не стали возиться с этой жуткой старой каргой, вывозить ее на прогулки и тратить на нее столько времени.

Я молилась, чтобы кто-нибудь мне позвонил или зашел проведать. То, что на молитву, по всей

видимости, последовал почти мгновенный ответ, еще не доказывает ее действенности: было шесть вечера, а в это время любой знакомый мог позвонить или заскочить ко мне по дороге. Мэйзи говорила:

— Рано или поздно этот вопрос должен был возникнуть, согласны? Конечно, я считаю Эгберта Дилени законченным мерзавцем. В этом деле, Флёр, я целиком на вашей стороне, мне кажется, что вам, в сущности, вовсе не нужно объяснять, почему вы уделяете столько внимания противной старухе.

— Мне даже не нужно объяснять, почему я уделяю столько внимания вам, — сказала я. — Осмелюсь предположить, что вы умрете раньше, однако я не жду, чтобы вы мне что-то там отказали по завещанию.

— Ох, Флёр, как грубо, как жестоко с вашей стороны. И вы смогли мне такое сказать?! Как можете вы думать о моей смерти? Я же на вашей стороне, на вашей, я рассказала вам для вашего же…

Стук в дверь. Она приоткрылась, и в комнату, к моему удивлению, робко просунулся Леслин поэт, чье настоящее имя — Серж Лемминг — буквально отвечало его внешнему виду, так что он

печатался под псевдонимом Леандр. До этого Серж был у меня всего один раз. Я сказала:

— А, Серж! Очень рада вас видеть. Входите!

Мое приглашение заметно придало ему бодрости. И он вошел — ослепительно самоочевидная мелкая бестолочь. Был он низенький, худосочный и растрепанный, лет двадцати; руки и ноги у него двигались как-то вразнобой — не то чтобы это требовало хирургического вмешательства, но в его сочленениях определенно была допущена ошибка. Его появление доставило мне беспредельную радость.

— Я просто подумал, может, Лесли случайно окажется у вас, — промямлил Серж.

— Ну, он, полагаю, подойдет через минуту-другую, — сказала я. Представив его Мэйзи, я тут же ввернула, что она, конечно, скажет спасибо, если Серж выскочит поймать ей такси.

Довольный, что пригодился, он немедленно засеменил на улицу. Мы спустились следом — я помогала Мэйзи, которая опиралась на трость, пропустив между пальцами ремешки от сумки. Она, вероятно, уходила от меня расстроенная, но я и не подумала выяснять. У подъезда я усадила ее в такси и, дрожа от холода, вернулась к себе в сопровождении Леслиного поэта.

В тот вечер мы пошли в паб, где собирались литераторы, выпили там светлого эля и съели по корнийскому пирожку; я обнаружила в своем два маленьких кубика вырезки, а Серж нашел всего один, угнездившийся меж ломтиками картошки внутри плотного конверта из теста. Но вот что самое любопытное: сейчас, когда я вспоминаю об этом, одна мысль о корнийском пирожке, тем более суточной давности, вызывает у меня отвращение, но тогда он показался мне восхитительно вкусным; и я задаюсь вопросом: что нашла я в этом корнийском пирожке? — примерно так же, как могла бы спросить себя сегодня: а что, собственно, привлекало меня в таком человеке, как Лесли?

Мы с Сержем сели за столик для двоих. У стойки выпивала пара известных поэтов, на которых мы поглядывали с почтительного расстояния, поскольку в их эмпиреи нам доступа не было. В тот раз это были, если не ошибаюсь, Дилан Томас и Рой Кэмпбелл, а может быть, Луис Макнис с кем-то еще; впрочем, не в них дело — главное, что обстановка была такая же приятная, как корнийские пирожки с пивом, и мы смогли поболтать. Серж поведал мне о своих многообразных заботах. Лесли три дня назад уехал с Дотти в

Ирландию, обещал вернуться накануне вечером, но так и не объявился. В утешение он подарил Сержу серый шелковый галстук в синюю крапинку, который тот носил с видом одновременно гордым и грустным. С Сержем Леммингом у меня почти не было темы для разговора, но, помнится, уже одно то, что мы этим вечером посидели с ним в пабе, приглушило мою злость на Мэйзи Янг. Я порадовала его, заметив, что по-настоящему не считаю Лесли бабником. Мы согласились, что мужчины, как правило, чувствительней женщин, зато женщины, как правило, надежнее. Потом он извлек из кармана несколько мятых листков и прочитал стихотворение о лунном серпе, объяснив его сексуальную символику.

Я никогда не была о Серже высокого мнения — для этого он был слишком мал по всем статьям. Но в тот вечер, попрощавшись с ним и добираясь домой на подземке, я подумала: он же нормальный человек по сравнению с Мэйзи Янг и «Обществом автобиографов» в целом. Когда я доехала до «Кенсингтон-Хайстрит», на улице было холодно и дождливо, и я, столь счастливая, пошла своей дорогой.

Вот почему через несколько дней жалобы Эрика Финдли, которые мне пришлось выслушивать

в его клубе, не застали меня врасплох и я смогла справиться с обуявшим меня страхом.

6

Когда Дотти вернулась из Ирландии в следующее воскресенье, на неделю позже обещанного, Лесли опять ушел от нее к Сержу.

— Я бы не стала так переживать, — сказала Дотти, придя навестить меня, — но оказаться заброшенной из-за этого крысенка — это уж слишком. Был бы он хоть приятным парнишкой, обаятельным или умным… Но он же такое ничтожество, этот его Серж Лемминг!

Я указала Дотти на то, что Лесли поменял на Сержа никак не ее.

— Забросил-то он меня, а не тебя, — сказала я.

— С тобой я была не против делиться, — заявила Дотти.

Мне это показалось удивительным, и я рассмеялась. Дотти, напротив, показалось удивительным, что я нахожу ситуацию забавной.

— Конечно, — заметила Английская Роза, — ты сильная, а я слабая. Лесли таскает мне свои рукописи, и я как последняя дура ему их печатаю. Он пишет роман.

Она извлекла вязание.

Я проявила к его роману живейший интерес. Она сказала, что может только сообщить название — «Двумя путями». Я весело прикинула, сколько разнообразных тем может крыться под таким заглавием.

— Лесли, конечно, даст его тебе прочитать, когда закончит, — сказала Дотти. — Очень хорошая, очень глубокая книга.

— Автобиографическая? — поинтересовалась я.

— Да, в основе, — ответила Дотти не без гордости, словно это был важнейший признак хорошей и глубокой книги. — Он, понятно, изменил имена. Но роман весьма откровенный, а в нашем нынешнем мире только это и имеет значение. Сэр Квентин, например, всегда требует полной откровенности.

Мне не хотелось огорчать Дотти, а то бы я высказала ей свое убеждение — полная откровенность не из тех достоинств, что красят искусство. Она же с грустью добавила, что никто никогда не бывает полностью откровенным, одна лишь видимость. Я согласилась, и это ее встревожило.

Как бы там ни было, мне надоело слышать имя сэра Квентина и бряцание арф перед его престолом.

Я рассказала ей о посещении Мэйзи. Я рассказала ей о завтраке с Эриком Финдли. Немного погодя до меня дошло, что Дотти непривычно молчалива. Тем не менее я продолжала. Я добавила одну подробность — она соответствовала истине: когда в клубе Эрика Финдли мы сидели с ним бок о бок на низком диванчике, он так забросил ногу на ногу, что подошвой чуть ли не залезал мне в лицо; в этом, сказала я, было неосознанное желание по меньшей мере меня оскорбить. Я сообщила Дотти, что «Оправдание» Ньюмена, думается, не следовало рекомендовать членам «Общества», поскольку оно — случай особый, а именно — написано Ньюменом в защиту самого себя от обвинения в неискренности со стороны Чарлза Кингсли; наши автобиографы, сказала я, равняясь на «Оправдание», начинают впадать в паранойю. «Жизнь Бенвенуто Челлини», сказала я, куда лучший образец для подражания: тут ясность мысли и полнота жизни. Нормальное ко всему отношение, сказала я. А Дотти все вязала.

Она все вязала. Шарф из красной шерсти. Быстро завершая ряд, она снова и снова переворачивала вязанье. Я сообщила ей, что сэр Квентин чем дальше, тем больше совпадает с моим Уоррендером Ловитом; невероятно, но я могла бы его

выдумать, и не одного его, а всех их, всю честную компанию. Эдвина, сказала я, единственный человек из плоти и крови на всю эту коллекцию. Тут Дотти на секунду перестала вязать и поглядела на меня. Ничего не сказала и снова вернулась к вязанию.

А я неслась закусив удила, ни разу так и не вызвав у нее ответного слова. В тот момент ее молчание, казалось, не имело значения: я даже чувствовала, что произвожу на нее сильное впечатление. Я заявила ей, что, по моему мнению, у всей кодлы автобиографов, к радости сэра Квентина, начинают сдавать нервы, и в заключение повторила то, что отец Эгберт Дилени шепнул мне на одном из собраний, — уничижительную фразочку о «титьках миссис Уилкс», а это, сообщила я Дотти, было более оскорбительным для меня, чем для миссис Уилкс. С вульгарностью я бы еще смирилась, объяснила я, исходи она от Солли Мендельсона или от Бенвенуто Челлини, попади он к нам из своего шестнадцатого века, — от нормальных крепких мужчин. Но я не собиралась позволять этому расслабленному святоше и defroque[16] тешить чувственность, оскорбляя

---

[16] Примечания: 16
Расстрига *(франц.)*.

мой слух.

— Уже поздно, — заметила Дотти. Она спрятала вязанье в свою ужасную черную сумку, попрощалась и ушла.

После ее ухода меня осенило, и я совсем по-новому истолковала ее молчание. Дав ей время добраться до дому, я позвонила:

— Что-нибудь случилось, Дотти?

— Послушай, — ответила она, — мне кажется, у тебя расшалились нервы. Ты бредишь. С нами все в порядке. У нас совершенно нормальная группа. А вот с тобой, по-моему, что-то не так. Берил Тимс — впрочем, пусть ее говорит сама за себя. Твой «Уоррендер Ловит» — насквозь больная книга. Тео и Одри Клермонты тоже считают ее больной, она жуть как их растревожила, пока они правили гранки. Лесли говорит, что это бред.

Я сумела взять себя в руки и подыскать достаточно суровую отповедь, уместную для данного случая; нападки на «Уоррендера Ловита» меня по-настоящему разозлили, на прочее мне было плевать.

— Если Лесли хоть как-то считается с твоими суждениями о его романе, — процедила я спокойно, подавив рвавшуюся наружу истерику, — ты могла бы уговорить его отказаться от ужасной

фразы, которую он сует на каждом шагу, — «Что касается…» В его рецензиях она так и мелькает.

Я услышала, как Дотти заплакала. Я намеревалась выложить ей кое-что еще про прозу Лесли с ее чудовищными повторами. Он добирался до сути не иначе, как безнадежно похерив ее в паутине многосложных слов и многослойных образов.

Она заявила:

— Ты этого не говорила, когда спала с ним.

— Я спала с ним, а не с его стилем.

— Я считаю, — сказала Дотти, — что в нашем мире тебе не место.

Так завершилась очередная из миллиона, как мне казалось, моих ссор с Дотти.

— Флёр, — процедила леди Бернис «Гвардеец» Гилберт со свойственной ей хрипотцой в голосе, — не обнесете ли гостей бутербродами? Могли бы и в прихожей помочь — у моей малышки-горничной всего две руки. Проверьте, не нужно ли кому налить…

Она упросила меня прийти на коктейль, и вот я оказалась у нее на Керзон-стрит в своем голубом бархатном платье среди полчища балаболок. Теперь до меня дошло, почему она так навязывала мне это приглашение. Я нерешительно взяла

поднос с сырным печеньем и сунула под нос стоящему рядом молодому человеку солидной наружности.

Он взял печенюшку и сказал:

— Да это же Флёр!

Это был Уолли Макконахи, мой старый приятель военных лет, служивший в Министерстве иностранных дел. Он вернулся из Канады. Опершись спиной о стену, мы принялись болтать, а «Гвардеец» тем временем мерила меня свирепым взглядом. Когда она вдоволь насмотрелась, а выпивка и болтовня Уолли вернули мне хорошее настроение, я приспособила Уолли принимать в прихожей пальто и помогать мне разносить бутерброды с купленными на черном рынке деликатесами, от коих и мы с Уолли урвали свою долю. Это еще сильнее разъярило «Гвардейца».

— Сэр Квентин, — сказала она, проходя мимо, — наверняка предложил бы вам помочь мне. Его еще нет.

Я сказала, что сэр Квентин требует полной откровенности и, откровенно говоря, я таки ей помогаю, а бутерброды имеют огромный успех.

Вскоре прибыл сэр Квентин, а затем и автобиографы поодиночке просочились в числе прочих гостей. Комната была набита битком. Я заметила

Дотти — поглядывая в мою сторону, она о чем-то горячо беседовала с Мэйзи. Пустые стаканы выстроились на крышке огромного рояля, где стояла большая фотография покойного супруга хозяйки, погребенного под грудой орденов и медалей. «Гвардеец» схватила меня за руку и, ни слова не говоря, показала на стаканы.

Мы с Уолли их собрали, свалили на кухне в раковину и удрали. За обедом в «Прунье», где интерьер с аквариумом так успокаивает нервы, мы поведали друг другу о том, что было в нашей жизни с тех пор, как я потеряла его из виду. Рыбки плавали к сновали в своей стихии, а мы себе беседовали, потягивали вино и смотрели друг другу в глаза. Затем мы отправились в «Куальино», чьи темные стены были в то время украшены пустыми рамами от картин, и протанцевали до четырех утра.

За вечер Уолли нарассказывал массу забавных историй — совершенно пустых, но именно по этой причине меня взбодривших. Например, он поведал об одной своей знакомой: эта девушка обладала сверхъестественной способностью — низкосортные вина заставляли ее чихать, что и обеспечило ей место дегустатора в виноторговой фирме. Рассказал он и о другой девушке — эта

не хотела идти замуж на том основании, что у жениха изо рта плохо пахнет, а ее мать, пытаясь сломить сопротивление дочери, заявила: «Ну, знаешь ли, ты *слишком многого* хочешь!» Глупенькие истории вроде этих вернули мне способность взирать на себя с прежней беззаботностью. Я тоже рассказала Уолли кое-что смешное про команду сэра Квентина с Халлам-стрит и набросала примерную картину своей жизни поденщицы с окраины литературного мира. Уолли, мучительно пытавшийся вспомнить, где он «от кого-то что-то» слышал про старину Квентина Оливера, и от души позабавившийся моими россказнями, тем не менее решительно посоветовал мне найти другую работу:

— На твоем месте, Флёр, я бы развязался со всем этим. Счастливей будешь.

Да, сказала я, возможно. На самом же деле в этот чудесный хмельной вечер мне открылось, что я предпочитаю остаться на старом месте, что живой интерес я предпочитаю проблематичному счастью. Я не была уверена, что так уж стремлюсь к счастью, но знала, что должна следовать своей натуре. Уолли я этого, однако, не сказала — ни к чему было.

Зато я пообещала непременно познакомить его

с невероятной Эдвиной.

На другое утро мне не хотелось вставать, и, проснувшись около одиннадцати, я позвонила на Халлам-стрит, что не приду.

Трубку сняла Берил Тимс.

— Справку у врача получили? — спросила она.

— Идите к черту.

— Простите?

— Я не заболела, — сказала я, — просто всю ночь протанцевала.

— Подождите, я сейчас позову сэра Квентина.

— Не могу, — сказала я, — ко мне пришли.

Так оно и было. Я повесила трубку и, открыв дверь, увидела краснолицего привратника с букетом чайных роз, а за ним — приходящую уборщицу в розовом платье с белым фартуком; стоимость ее ненужных услуг входила в квартирную плату. Колоритная была парочка. Я на секунду опешила, потом отправила прислугу восвояси, а привратник тем временем доложил, что накануне вечером у меня была гостья:

— Та самая симпатичная дама, что замужем за вашим дружком-джентльменом. Я пустил ее к вам обождать, она больше получаса просидела. Ушла уже после десяти.

Я поняла, что речь идет о Дотти.

Избавившись от привратника, я пересчитала розы — их прислал Уолли. Четырнадцать. Меня это порадовало. Мне нравится получать розы в подарок, но от стандартной дюжины так и отдает магазинным заказом. Четырнадцать — значит, обо мне действительно думали.

Ближе к вечеру, около шести, когда я прикидывала, не встать ли мне поработать над моим новым романом, позвонила баронесса Клотильда дю Луаре.

— Сэр Квентин, — сообщила она, — волнуется по вашему поводу. Вы плохо себя чувствуете, Флёр? Сэр Квентин считает, а вдруг найдется, чем я могу вам помочь. Если у вас что не так, то, как вы знаете, сэр Квентин требует полной откровенности.

— Я просто взяла выходной. С его стороны очень мило так обо мне беспокоиться.

— Но как раз сейчас, Флёр, я про что говорю — «Общество» трещит по швам, разве нет? «Гвардеец» Гилберт, я ее имею в виду, — уж слишком она из себя того, разве нет? Понятно, у нее за душой ни пенса. Я же говорю, у нас сегодня было очень откровенное обсуждение. Я только что оттуда. Затем Квентин затеял что-то вроде молитвенного собрания, честное слово, хоть сквозь

землю провалиться. А что было делать? Я-то прекрасно знаю, что у меня, например, есть своя личная жизнь, и, когда я говорю — личная жизнь, вы наверняка понимаете, что именно я хочу сказать. Но я решительно против, чтобы кто-то там за меня молился. Знаете, Квентин внушает мне ужас. Он слишком много знает. А Мэйзи Янг…

— Почему бы вам не выйти? — сказала я.

— Что? Из нашего «Общества автобиографов»? Ну, мне трудно объяснить, но я действительно полагаюсь на Квентина. Да и вы тоже, Флёр, я в этом уверена.

— О да. У меня такое чувство, словно я его придумала.

— Флёр, вам не кажется, что между ним и Берил Тимс что-то есть, то есть что-то такое? Я хочу сказать, их водой не разлить. И знаете, когда они нынче стали молиться, вошла эта страшная матушка Квентина и принялась делать про это намеки. Конечно, у нее не все дома, но все-таки… Она говорит, что любит вас, Флёр, и, по-моему, это Квентину тоже не по нраву. Да, что я еще хочу сказать, это правда, Флёр, что вы про нас роман написали?

7

Мне кажется, что я настраивалась на голоса, по-настоящему их не слушая, как бывает, когда крутишь ручку приемника и станции сменяют одна другую. Знаю, что на Халлам-стрит дела шли полным ходом. Эрик Финдли и Дотти сговорились, встретившись на Халлам-стрит как-то утром, когда сэр Квентин безуспешно выбивал в местном продраспределителе дополнительные карточки на чай и сахар для «Общества автобиографов», совместно выступить против миссис Уилкс. Ясно помню, что по этому случаю Дотти непонятно в какой связи спросила, что слышно из издательства. Я сказала, что пришло извещение о получении авторских гранок и сейчас я жду сигнальный экземпляр. Дотти хмыкнула.

На другой день явилась миссис Уилкс — вся в пастельных тонах, при газовых шарфиках и с мокрым лиловым зонтиком, который отказалась сдать Берил Тимс. Она утратила свой дородный и беззаботный вид. При нашей последней встрече я уже обратила внимание, что она теряет в весе, теперь же не оставалось никакого сомнения:

либо она серьезно больна, либо сидит на диете. Ее накрашенное лицо съежилось, так что нос выглядел слишком длинным; глаза с расширенными зрачками рассеянно блуждали. Она потребовала, чтобы я в протоколах повсюду заменила миссис Уилкс на мисс Дэвидс, объяснив, что отныне ей придется выступать incognito, потому что троцкисты по всему свету разослали своих агентов с заданием ее выследить и убить. Вспоминаю, что, пока она несла весь этот бред, пришел сэр Квентин и услал меня под каким-то предлогом. Когда я вернулась, миссис Уилкс уже не было, а сэр Квентин сидел, откинувшись в кресле, полуприкрыв глаза, слегка подавшись вперед правым плечом и сложив перед грудью руки в молитвенном жесте. Я собралась спросить, что стряслось с миссис Уилкс, но он меня опередил.

— Миссис Уилкс блюла слишком суровый пост, — произнес он и поставил на этом точку. Свою маленькую паству он не давал в обиду. Примерно в это же время я как-то в разговоре с сэром Квентином непочтительно прошлась по адресу отца Эгберта Дилени, который выговаривал мне по телефону за то, что Эдвина присутствует на собраниях. Сэр Квентин высокомерно ответствовал:

— Один из его предков сражался в битве при

Босворте.

Теперь, когда он отстранил меня от работы над текстами автобиографий, моя служба у сэра Квентина в основном была ограничена другими его занятиями — вполне обычными, частного и делового порядка. Он диктовал ненужные, по всей видимости, письма к каким-то старым друзьям — некоторые из этих посланий, подозреваю, так и не были отправлены: он часто откладывал их в сторону, объясняя, что подпишет и сам бросит в ящик. Теперь — и я была в этом уверена — сэр Квентин стремился укрепить меня в мысли, что он абсолютно нормален. Судя по всему, у него имелся деловой интерес в Южной Африке: об этом говорилось в его письмах. Он постоянно думал о своей вилле в Грассе: в войну там квартировали немцы; его интересовало одно — выяснить, какие именно («Несомненно, представители Верховного командования и Старой Гвардии»). У него был пай в фирме по производству красок, которая готовила к изданию свою историю — «Сто лет процветания»; я помогала читать скучнейшие гранки. Сомневаюсь, чтобы он вообще нуждался в моих услугах, но от меня была польза, когда требовалось заняться кем-нибудь из автобиографов — теперь они взяли обыкновение забегать на

Халлам-стрит или звонить по телефону, предаваясь этому со все возрастающим пылом.

Примерно в это время он спросил меня:

— Чем вам не угодило «Оправдание?»

Не помню точно, как я ему ответила. Я ни в коем случае не собиралась позволить сэру Квентину втянуть меня в обсуждение как этого изысканного сочинения, так и любого другого. Мне всего лишь хотелось знать, что у него на уме. Кроме того, в это время я размышляла об автобиографиях вообще. Из личных воспоминаний членов «Общества» я уяснила, что житейские истории и мемуары представляют ценность лишь тогда, когда они чрезвычайно примечательны сами по себе или же интересна явленная в них личность. Детские переживания Ньюмена или Микеланджело способны вызвать интерес при всей их незначительности, но кого взволнуют — могут взволновать — воспоминания Эрика Финдли о дворецком и няне? Сэра Эрика Финдли со всем, что он собой представляет? Именно потому, что все их биографии с самого начала навели на меня смертную скуку, я так легкомысленно обошлась с ними — словно то, о чем в них рассказано, случилось со мной, а не с их авторами. Я хотя бы оказала автобиографам честь, обойдясь с их писаниной

как с жизнеописаниями, а не как с историями болезни, годными для психоанализа, чего они более или менее заслуживали; я подтолкнула их выдумывать про самих себя небылицы.

Теперь у меня отобрали эти автобиографии, но я не жалела: они все, как одна, были отчаянно скучными.

Я была уверена, что в их жизни никогда ничего не случалось, как и в том, что сэр Квентин искусственно корежит их жизни, причем в действительности, а не на бумаге. Скудному этому материалу еще можно было бы придать достоверности, представив его как вымысел. Но попытка заставить их выразить себя в реальной жизни обернулась фальшью.

Что есть истина? Я могла бы подарить этим людям жизнь, забавляясь и играя с их биографиями, тогда как сэр Квентин уничтожал их, подстрекая к откровенности. Когда человек говорит, что в его жизни ничего не случалось, я верю. Но вы обязаны понять, что с художником случается решительно все — время неизменно наверстывается, ничто не потеряно и чудеса длятся вечно.

Я узнала, но только позднее, что каждому из них, в том числе и Дотти, он дает маленькие желтые пилюли под названием «Декседрин», говоря,

что это поможет выдержать голодание, которое он назначает им с целью очищения. У меня в «Уоррендере Ловите» пилюли не фигурировали; сэр Квентин дошел до них собственным умом, опасаясь, что не сумеет без их помощи удержать свою паству в повиновении.

В тот самый день, когда он задал мне вопрос про «Оправдание», сэр Квентин перевел разговор на трудности со своей матерью.

— С матушкой, — изрек он, — очень трудно.

Я принялась тщательно укладывать копирку между двумя листами бумаги.

— С матушкой, — сказал он, — всегда было трудно. И вот о чем мне вас хочется предупредить, мисс Тэлбот: вы правильно сделаете, если не станете придавать значение каким бы то ни было обещаниям матушки по вашему адресу касательно возможного наследства. Она, вероятно, в старческом маразме. Мы с миссис Тимс…

— Существительное «обещание» не принято согласовывать с выражением «по адресу», — оборвала я, придя в ужас от мысли, что не смогу с собой справиться. Я видела, как он, произнося эту тираду, нажал на кнопку звонка, вызывая миссис Тимс. Поскольку одновременно позвонили в дверь, она не явилась тотчас же, но сэр Квентин

улыбнулся моей робкой попытке переменить тему и продолжал:

— Я знаю, вы были с матушкой очень добры, вывозили ее по воскресеньям, и если при этом несколько поистратились, то мы, я уверен, изыщем пути и возможности возместить расходы. Само собой разумеется, что, если вы пожелаете продолжить в том же духе, мы всегда договоримся о частностях. Но только на будущее…

— На будущее я прекрасно обеспечена, благодарю вас, — отрезала я. — И на все прошлое, настоящее и будущее я не беру платы за дружбу.

— Вы собираетесь вступить в брак? — спросил он.

Я остервенела, и меня прорвало:

— Я написала роман, которому обеспечен успех. Он выйдет в июне.

Не понимаю, зачем я это сказала, разве что была вне себя от бешенства. На самом деле я вовсе не надеялась, что «Уоррендер Ловит» будет пользоваться хоть каким-то успехом. Сейчас я всю себя вкладывала в новый роман, над которым работала, второй по счету, — «День поминовения»; с ним были связаны мои самые заветные надежды. А «Уоррендер Ловит», как я полагала, мог стать недурным прологом к моей второй книге. Тогда я

не знала того, что знаю теперь, — на первом месте для меня всегда та книга, над которой я работаю в данный момент.

Мне, однако, было не до оттенков собственных мыслей в ту минуту, когда я выпалила «Я написала роман…»

— Ах, дорогая моя мисс Тэлбот, будем полностью откровенны. Вы не находите, что у вас возникла мания величия?

В один и тот же миг я восприняла четыре разных явления: раздался гром каблуков Берил Тимс, и, открыв дверь, она просюсюкала, что леди Бернис просит сэра Квентина ее принять; сэр Квентин с улыбкой выдвинул правый нижний ящик своего письменного стола; в то же время у меня в ушах снова прозвучали его слова «Вы не находите, что у вас возникла мания величия?», и разум мгновенно засек — прошедшее время, почему он не сказал «…возникает мания…»? — и последняя, четвертая, составная в этой комбинации восприятий: я поняла, что фраза «Вы не находите, что у вас возникла мания величия?» — собственность моего Уоррендера Ловита; в письме к придуманной мною Английской Розе, Шарлотте, советуя, как лучше порасспросить Марджери, он пишет слово в слово: «Задайте ей

такой вопрос: «Вы не находите, что у вас возникла мания величия?» И после, когда старуха Пруденс старается припомнить для ученого Прауди, что именно случилось с молодой гречанкой на молитвенном собрании (она затем кончает самоубийством), я вкладываю в ее уста: «Уоррендер-то понимал, что девушка совсем плоха. Дня за два до того он спросил ее: «Вы не находите, что у вас возникла мания величия?»

Все это я восприняла разом, хоть и кипела от злости. Думаю, ярость резко обострила мою восприимчивость, потому что когда я вскочила, собираясь уйти, то мельком заглянула в ящик, выдвинутый сэром Квентином. Он тут же его задвинул, но я успела заметить пачку наборных гранок и должна была по логике вещей заключить, что это — книжка к столетнему юбилею красильного производства «Сеттлбери», основанного в 1850 году. На таком расстоянии и за какую-то долю секунды я только и углядела, что свернутые бумажные полосы. Ни полей, ни шрифта, ни отдельных слов я, понятно, различить не могла. Почему же в таком случае меня пронзила мысль, что это гранки «Уоррендера Ловита»? Я, однако, позволила ей уйти, вспомнив о фабрикантах красок. Два комплекта гранок,

что они прислали сэру Квентину, по толщине примерно равнялись моему роману.

Все это произошло в считанные мгновенья. Разъяренная на сэра Квентина, я была уже на ногах, готовая уйти, хлопнув дверью. Берил Тимс переминалась, дожидаясь указаний, а сэр Квентин, задвинув ящик, произнес:

— Сядьте, миссис Тимс. Мисс Тэлбот, присядьте на минутку.

Я отказалась присесть. Я сказала:

— Я ухожу.

На Берил Тимс я заметила свою брошь; погладив ее, она спросила:

— Прикажете сказать леди Бернис…

— Миссис Тимс, — оборвал ее сэр Квентин, — позвольте вам сообщить, что вы находитесь в обществе писательницы.

— Простите?

— Написавшей роман-бестселлер.

— У леди Бернис очень расстроенный вид. Она должна поговорить с вами, сэр Квентин. Я сказала…

К этому времени я, подхватив свои вещи, уже вышла из кабинета. Сэр Квентин выскочил следом:

— Дорогая моя мисс Тэлбот, вы не должны,

никак не должны оставлять нас. Я говорил для вашей же пользы. Матушка просто осиротеет. Миссис Тимс, я вас прошу — мисс Тэлбот обиделась.

Я ушла, пожелав им всего хорошего и слишком взъяренная, чтобы сказать что-нибудь еще. Но, уходя, я заметила в дверях гостиной леди Бернис — она стояла с совершенно потерянным выражением, столь не похожим на ее обычную властную мину; она была разодета, как всегда, но беглый взгляд, брошенный на ходу, запечатлел в моей памяти криво сидящее платье и кое-как наложенную, подтекшую у глаз косметику. Я видела ее в последний раз. Закрывая дверь, я услышала сэра Квентина («Боже, «Гвардеец», что с вами…»), но была так поглощена своими собственными обидами, что не задержалась мыслью на этом прощальном видении, которое, однако, накрепко врезалось мне в память и по сей день стоит перед глазами.

Мне не терпелось добраться до дому, и я все дивилась своей глупости, толкнувшей меня на восторженные пророчества об «Уоррендере Ловите»; я никак не могла понять, откуда взялись слова — «…роман, которому обеспечен успех». Сказав их, я тем самым сдалась ему на милость;

не то чтобы успех был позором в моих глазах, но в тот момент я даже не думала об «Уоррендере Ловите» в этом плане; к тому же я давно знала, что, в сущности, успех не может быть делом моей жизни, равно как неудача — призванием. И то и другое являлось побочным продуктом. Так почему же тогда, задавалась я вопросом до самого дома, я угодила в поставленную сэром Квентином ловушку? Ибо случившееся было в моих глазах ловушкой. Поэтому он и сумел воспользоваться словами, принадлежащими Уоррендеру Ловиту: «Вы не находите, что у вас возникла мания величия?»

Свой экземпляр «Уоррендера Ловита» я спрятала. То была моя рукопись на листах форматом 13x16 дюймов, с нее я печатала экземпляр, который пошел в издательство. Подкопирочного экземпляра я не закладывала — пожалела бумаги. Но рукопись увязала в пачку, надписала сверху «Уоррендер Ловит. Сочинение Флёр Тэлбот» и отправила на дно шкафа, где держала одежду.

Вернувшись к себе, я решила извлечь рукопись и перечитать пару абзацев — убедиться, что сэр Квентин действительно использовал слова Уоррендера Ловита и я не ошибаюсь. Я была взбудоражена, мне начинало казаться, что у меня и

впрямь возникает мания величия, или мания преследования, или еще какой-то параноидальный симптом. Но в настоящую паранойю я впала, обнаружив, что моего экземпляра «Уоррендера Ловита» нет в шкафу, где ему полагалось быть. Пачки размером с лондонскую телефонную книгу не было на месте.

Я принялась обыскивать комнату. Для начала стала как дура все переворачивать, включая свежие страницы моей новой работы — «Дня поминовения». Никаких признаков «Уоррендера Ловита». Я села и подумала. Мои лихорадочные размышления не привели ни к чему. Я встала и взялась за уборку комнаты — очень тщательно, очень дотошно, передвигая каждый предмет обстановки, перекладывая каждую книгу. Занималась я всем этим не спеша — сперва передвинула мебель и сложила вещи в середине комнаты, затем снова расставила их по местам, предмет за предметом, книгу за книгой, карандаши, пишущую машинку, запас продуктов — всё-всё. Делалось это из чистого суеверия — достаточно было внимательно оглядеться, чтобы понять, что пачки в комнате нет; но я искала с таким сверхтщанием, будто надеялась найти потерянный бриллиант. Я нашла много чего из потерянного —

старые письма, монету в полкроны, давние свои стихи и рассказы, — но не «Уоррендера Ловита». Я вскрыла все остальные пачки, хранившиеся в старом чемодане, — ничего.

Осторожно и скованно, как во сне, я налила в стакан виски, разбавила водой из-под крана и села, прихлебывая. Должно быть, роман выбросила уборщица. Но как? Он же лежал в шкафу. Она проработала тут много лет и никогда не лазила по чужим шкафам или ящикам, ни разу ничего не взяла. К тому же я всегда просила ее быть поосторожней с моими бумагами и пачками, и она была осторожна, не решалась — чтобы чего не напутать — даже пыль смахнуть со стола, если я оставляла на нем работу. Она все время ворчала, что у меня в комнате кавардак, но почти ничего не касалась тряпкой. Я принялась вспоминать, кто был в комнате после того, как я последний раз видела «Уоррендера Ловита» в шкафу. Был Уолли, но не просидел и минуты, — он просто зашел за мной, в тот вечер мы куда-то ходили. Может, у меня устроили обыск Алекзандеры? — подумала я. Глупости. Лесли? Дотти? Их я отбросила, начисто забыв в ту минуту, что Дотти-то и побывала у меня без меня, когда мы с Уолли отметили наш первый вечер, отправившись потанцевать

в «Куальино». Но об этом я вспомнила позже. А тогда я сидела и думала, уж не схожу ли я с ума, существует ли «Уоррендер Ловит» на самом деле, или он мне только привиделся.

Я сняла трубку позвонить Уолли. Коммутатор не отвечал — было, как я заметила, около двенадцати ночи.

Но уже одно то, что я подумала об Уолли, пошло мне на пользу: в конце-то концов не случилось ничего особенно страшного. Рукопись пропала, но машинописный ее экземпляр и гранки находились в издательстве в полной безопасности. Я могла забрать машинопись у Ревиссона Ланни.

Я залезла в постель и, чтобы отвлечься от забот, начала перелистывать моего любимого Челлини, задерживаясь то на одном, то на другом эпизоде. Магия делала свое дело: я читала о его приключениях в искусстве и о мужественности Возрождения, о его любви к кубкам и статуям, какие он создавал из любимейших своих материалов; о его заточениях и побегах, об отношениях с другими ювелирами и ваятелями, об учиненных им человекоубийствах и драках и — снова — о наслаждении всеми тонкостями своего ремесла. Каждая прочитанная страница была для меня тогда и по сей день остается волшебством чи-

стейшей воды:

> «…уверившись, что я могу на них положиться, я обратился к моему горну, каковой я велел наполнить множеством медных болванок и других бронзовых кусков; и, расположив их друг на дружке тем способом, как нам указывает искусство, то есть приподнятыми, давая дорогу пламени огня, чтобы сказанный металл быстрее получил свой жар и с ним расплавился и превратился в жидкость, я смело сказал, чтобы запалили сказанный горн. И когда были положены эти сосновые дрова, каковые, благодаря этой жирности смолы, какую дает сосна, и благодаря тому, что мой горн был так хорошо сделан, он работал так хорошо, что я был вынужден подсоблять то с одной стороны, то с другой, с таким трудом, что он был для меня невыносим; и все-таки я силился. И вдобавок меня постигло еще и то, что начался пожар в мастерской, и мы боялись, как бы на нас не упала крыша; с другой стороны…»

Я перескакивала через страницы, возвраща-

лась к началу и размышляла о том, как Челлини и его искусство пребывали в долгом любовном согласии, как потешно противоречил Челлини самому себе в своих поступках, как нахваливал он свою работу:

> «…и когда я приехал в Пьяченцу, я встретил на улице герцога Пьерлуиджи, каковой на меня посмотрел и меня узнал. И я, который знал, что все то зло, которое со мною было в римском замке Святого Ангела, причиной ему был всецело он, меня привело в немалую страсть увидеть его; и, не ведая никакого способа уйти из его рук, я решил сходить ему представиться; и пришел как раз, когда убрали со стола, и были с ним те самые люди из дома Ланди, которые потом были те, кто его убил. Когда я вошел к его светлости, этот человек учинил мне самые непомерные ласки, какие только можно себе представить; и среди этих ласк сам завел речь, говоря тем, кто тут же присутствовал, что я первый человек на свете в моем художестве…»

Таким манером, забыв о заботах, я вернулась к

первой странице, к начальной фразе этой великолепной автобиографии:

> «Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своею собственною рукою описать свою жизнь…»

Когда-нибудь, подумала я, я опишу свою жизнь. Но сперва ее надо прожить.

> «…мне даже кажется, что я в большем душевном довольствии и телесном здравии, чем когда-либо раньше, — и вспоминая о кое-каких благих отрадах и кое-каких неописуемых бедствиях, каковые, когда я оборачиваюсь назад, ужасают меня удивлением, что я достиг до этого возраста пятидесяти восьми лет, с каковым, столь счастливо, я, благодаря милости божией, иду вперед».

На днях, описывая этот малый отрезок своей жизни и все, что происходило тогда, в середине двадцатого века, все эти месяцы 1949–1950 годов, я прочла последний из приведенных отрывков и

мысленно возвратилась к весне 1950-го, когда я читала его, лежа в постели у себя в Кенсингтоне. Я прикидывала, что из этой книги можно извлечь бесконечное множество волшебных стихотворений, всего лишь ее перелистывая, выхватывая там страничку, здесь эпизод или сценку, и, пока я забавлялась этой мыслью, меня вдруг ни с того ни с сего осенило, что Дотти, прекрасно знавшая, где у меня что лежит, конечно же, забрала пачку в тот самый вечер, когда привратник впустил ее ко мне в комнату.

Был уже третий час ночи. Я выпрыгнула из постели и оделась. Натягивая платье, я вспомнила про гранки в столе у сэра Квентина и как ко мне на мгновенье пришла непонятная уверенность, что это моя книга. Я выскочила в холодную ночь и потащилась к Дотти. Не знаю, шел ли тогда дождь, я в те дни почти не замечала дождя. Но я замерзла, стоя у нее под окнами и распевая «За счастье прежних дней». Я боялась разбудить соседей, но была порядком взбешенна; пела я тихо, однако с таким расчетом, чтобы мой голос проник в ее спальню, и ни на секунду не замолкая. В чужом окне вспыхнул свет, подняли раму и кто-то высунулся на улицу: «А ну, кончай хай, час вон какой поздний!» Отступив за круг света от фонаря, я

увидела, как в спальне у Дотти раздвинулись занавески. В слабом уличном свете я заметила, что кто-то — не Дотти — выглядывает из-за стекла. Чем дольше я наблюдала с улицы, тем яснее мне становилось, что голова принадлежит мужчине. Я решила, что это Лесли. Доттин возмущенный сосед ретировался, с треском опустив раму, свет в его окошке погас, и в этот миг я за какую-то долю секунды отчетливо уловила, что в комнате Дотти вовсе не Лесли, а другой мужчина — пожилой, лысый, с квадратным лицом; мне показалось, что это Ревиссон Ланни, мой издатель.

Я заторопилась домой, внушая себе, что это мне померещилось. Мои мысли были заняты «Уоррендером Ловитом», что правда, то правда; а с пропажей рукописи вполне можно было сказать, что я на нем помешалась.

Взять ту же Дотти. Будучи Английской Розой, она всегда выставляла себя благочестивой католичкой старого закала. Что она унесла «Уоррендера Ловита» — в этом я не сомневалась, но все еще не могла понять, сделала она это как бы в шутку или же в одном из очередных своих приступов праведности. С нее вполне могло статься сжечь зловредную, с ее точки зрения, книгу, но мне казалось маловероятным, чтобы моя руко-

пись удостоилась подобной чести. Насколько я знала Дотти, она была по натуре безвредной и в меру собственных понятий честной. Могло ведь случиться и так, что она надумала кому-то показать мой роман — какому-нибудь отцу-кармелиту, чтобы услышать от него заведомо нелестный отзыв о книге, или же Лесли, чтобы подольститься к нему, дав прочитать последние главы, которых он не видел. Могло быть все что угодно. Но больше всего, когда я вернулась к себе, меня занимал вопрос, кто мог быть с Дотти этой ночью. Не ее отец — с ним я была знакома. Может, подумалось мне, какой-нибудь старый дядюшка. Однако перед глазами неизменно вставали выхваченные из мрака квадратное лицо и лысый череп Ревиссона Ланни.

Но чтобы у Дотти был любовник и чтобы им оказался Ревиссон Ланни, в его-то годы, — и то и другое казалось одинаково невозможным.

Я просидела всю ночь, ломая голову над двумя этими столь очевидно невозможными фактами. В пользу Дотти свидетельствовал маленький, вдвое сложенный формуляр, который она как-то мне принесла; я обнаружила его, когда искала пакет, и теперь он лежал передо мной на столе. В этом была вся Дотти. Она выложила два шил-

линга шесть пенсов, чтобы завербовать меня с помощью этого формуляра в одну организацию. «Сообщество Богоматери-Вызволительницы», — гласил заголовок, а ниже, в порядке разъяснения, стояло: «Во Обращение Англии. Обрати Англию, Господи. Под Небесным Покровительством *Богоматери, Св. Григория и Приснoблаженных Английских Мучеников*». Я сидела, читала и проникалась Доттиным благочестием. «Девиз», — возвещал разворот: «За Господа, Богородицу и Веру Католическую». Следом шло: «Обязательства: 1. Возносить ежедневную молитву об осуществлении целей Сообщества. 2. Участвовать в деятельности Сообщества. 3. Ежегодно жертвовать в фонд Вызволения не менее двух шиллингов шести пенсов. Флёр Тэлбот (вписано рукою Дотти) настоящим зачисляется в Вызволительницы Красного Креста. Частичные индульгенции: 1. *Семь лет и семижды сорок дней*. 2. *Сто дней*».

И так далее, с неукоснительным отсчетом индульгенций, душами в чистилище и всей прочей выспренней трескотней в обычном Доттином духе.

Я тоже была верующей католичкой, но не такого, совсем не такого типа. Если я и вправду, как всегда заявляла Дотти, чудовищно рисковала

своей бессмертной душой, то подобные предосторожности все равно были бы не по мне. У меня было мое искусство, чтобы им заниматься, жизнь, чтобы жить ею, и вполне достаточно веры; а для всяких сообществ и индульгенций, постов, праздников и обрядов у меня просто не было ни времени, ни предрасположенности. Я всю жизнь считаю, что в религиозных вопросах не следует множить трудности — их и без того хватает.

Я говорю обо всем этом, потому что меня озадачило — с чего бы это в окне Доттиной спальни, да еще в половине третьего ночи, появился не Лесли, а посторонний мужчина. И снова, мысленно вернувшись к этому эпизоду, я увидела голову Ревиссона Ланни. С ним я встречалась раза два-три, не больше. Неужели возможно невероятное? Я начала сомневаться, верно ли оценила его возраст. На вид я дала бы ему около шестидесяти. То есть я была просто уверена, что ему под шестьдесят. Чем дольше я размышляла, тем возможнее становилось невозможное. Он не произвел на меня впечатления человека, живущего активной половой жизнью, но я как-то и не приглядывалась к нему с этой точки зрения. Так что возможность была, если, конечно, исключить, что Дотти скорей бы умерла, чем изменила

живому мужу; в ее глазах это был смертный грех, который, попади она под машину, не успев сходить к исповеди, отправил бы ее прямиком в ад. Я знала ее образ мыслей. Нет, такое было невозможно. И все же, когда кенсингтонские птицы у меня за окном щебетом встретили ранний весенний рассвет, неверность Дотти предстала во всей своей абсолютной возможности.

Возможно, подумала я, она сочла необходимым встретиться с Ревиссоном Ланни, чтобы протолкнуть в печать роман Лесли. Она могла принести себя в жертву на алтарь Леслиной книги. Она была привлекательна, и Ревиссон Ланни в свои шестьдесят или даже семьдесят мог захотеть переспать с нею. Все это было маловероятно, но вполне возможно. Цепочку моих умозаключений закономерно увенчал вывод о том, что это не так уж маловероятно и весьма правдоподобно. Один вопрос, однако, все же остался без ответа: взяла ли Дотти «Уоррендера Ловита», а если да, то зачем? Было пять утра. Я поставила будильник на восемь и легла спать.

8

С первой почтой пришел фирменный конверт «Парк и Ревиссон Ланни К° Лимитед»; я прочитала письмо, еще не очнувшись от сна.

> «Дорогая Флёр (если позволите),
>
> в связи с Вашим романом «Уоррендер Ловит» возникли небольшие затруднения.
>
> Полагаю, нам будет лучше обсудить их при личной встрече, прежде чем предпринять дальнейшие шаги, поскольку все слишком сложно, чтобы излагать в письме.
>
> Пожалуйста, позвоните мне как можно скорее, и мы договоримся о встрече, чтобы разрешить этот щекотливый вопрос.
>
> Неизменно
>
> ***Ревиссон».***

Письмо привело меня в ужас. Так оно всегда и бывает — старые тревоги приманивают новые беды. Было без четверти девять. Рабочий день у «Парк и Ревиссон Ланни» начинался в десять. Я

решила позвонить в половине одиннадцатого. Я перечитывала письмо снова и снова, каждый раз со все более дурными предчувствиями. Что стряслось с моим «Уоррендером Ловитом»? Я изучала письмо предложение за предложением, и одно казалось страшнее другого. Через полчаса я решила, что необходимо с кем-нибудь посоветоваться. Намерения возвращаться к комедии на Халлам-стрит у меня не было. Еще до получения письма я решила заглянуть туда на минутку во второй половине дня, забрать кое-какие свои вещи, попрощаться с Эдвиной и начать подыскивать новое место.

С Ревиссоном Ланни я договорилась о встрече на тот же день в половине четвертого. Я попробовала выпытать у него по телефону, «что такого стряслось» с моим «Уоррендером Ловитом», но он отказался что-либо объяснять. Тон у него был раздраженный, слегка неприязненный; он адресовался ко мне «мисс Тэлбот», забыв о «Флёр (если позволите)». Тогда я не знала того, что знаю теперь: обычная паранойя писателей не идет ни в какое сравнение с неизлечимой шизофренией издателей.

Судя по разговору, Ревиссон Ланни явно нервничал по какой-то причине — предположительно

из-за денег, которые он, весьма вероятно, потеряет на моей книге; предположительно из-за желания пересмотреть условия нашего договора; предположительно собираясь просить меня внести в роман существенную правку; перебирая все эти предположения, я решила, что откажусь менять в книге что бы то ни было. Потом мне пришло в голову, что, отправляя гранки, Тео и Одри могли приложить к ним неблагоприятное заключение о романе. Я еще раньше им написала и поблагодарила за чтение гранок и не очень поверила Дотти, когда та с садистским наслаждением излагала мне, что́ сказали Тео и Одри, всегда хорошо ко мне относившиеся. Но в то утро, после жуткого дня и бессонной ночи, я плохо соображала. Я позвонила им, ответила горничная, я попросила позвать Тео или Одри. Горничная вернулась и сообщила, что они работают в своих кабинетах.

Я снова легла в постель и в первом часу была готова к беседе с Ревиссоном Ланни. Сон так меня освежил, что предстоящую встречу я начала ожидать не без интереса — мне хотелось еще раз на него поглядеть и прикинуть, способен ли он переспать с Дотти или другой женщиной. Мне даже хватило времени забежать по дороге в Кен-

сингтонскую публичную посмотреть его возраст в «Кто есть кто». Год рождения — 1884. Дважды состоял в браке, сын, две дочери. Сев в автобус, я вычислила, что ему шестьдесят шесть лет. Тогда этот возраст показался мне весьма преклонным, не то что сейчас. Взглянув на Ревиссона Ланни у него в кабинете, я уверилась, что в Доттином окне маячил именно он. Он жестом предложил мне стул, и я, усаживаясь, подумала — сказала или нет Дотти этому старому козлу, что, скорее всего, это я распевала в два часа ночи «За счастье прежних дней». Одновременно пришла и другая мысль: Дотти могла найти в нем все что угодно, но только не сексуальную привлекательность.

— Итак, — заявил он, — я хочу, чтобы вы знали, как высоко мы ценим вашу работу.

Я отметила «мы» и насторожилась. Когда он вел речь об «Уоррендере Ловите», то частенько переключался с «я» на «мы» и обратно. Выражая свои восторги и живой интерес к роману как к образцу новой молодой прозы, он и в письмах, и в беседах употреблял «я»; когда же требовалось подчеркнуть, что издание может принести убытки, он неизменно обращался к местоимению «мы». Теперь мы снова вернулись к «мы».

— Как мы понимаем, вы работаете над новым

романом?

Я ответила, что работаю и он будет называться «День поминовения».

Он заметил, что такое заглавие не очень-то привлечет покупателей.

— Впрочем, — добавил он, — мы можем назвать его и по-другому.

Я сказала, что заглавие останется без изменений.

— Ну, право выбора предоставлено нам. Название мы сможем обсудить позже. Мы тут совещались и подумали, не лучше ли, не предпочтительней на какое-то время отсрочить издание «Уоррендера Ловита». Видите ли, в конце концов первый роман — это всего лишь проба пера, верно? В связи с этим мы собирались предложить вам, если вы покажете нам начало вашего второго романа — «День исчезновения»…

— «День поминовения», — сказала я.

— «День поминовения», разумеется, как же, как же. — Его это, казалось, позабавило, и я воспользовалась его смешком, чтобы ввернуть вопрос, что же случилось с «Уоррендером Ловитом».

— Мы не сможем его опубликовать, — ответил он.

— Почему?

— На наше счастье, мы своевременно обнаружили, что он, увы, отмечен характерным грехом почти всех первых романов — слишком напоминает то, что происходило в действительности. Послушайте, как бы это сказать, ну, в общем, все эти ваши персонажи целиком списаны с членов «Общества автобиографов», где вы служите. Мы тщательно, мы действительно тщательно вникли во все и располагаем достаточным количеством свидетельств о сходстве. А тут еще ваш патрон сэр Квентин Оливер угрожает подать на нас в суд. Он прислал к нам за гранками, и мы, понятно, направили ему экземпляр. Вы превращаете их в фигуры зловещие, в какие-то безвольные, загипнотизированные существа, а сэра Квентина делаете мерзким кукловодом и женоненавистником. Одну женщину он доводит до алкоголизма, другую…

— Когда я познакомилась с сэром Квентином, я уже писала роман. Сэр Квентин наверняка сошел с ума.

— Он грозится подать на нас в суд в случае публикации. Сэр Квентин Оливер — лицо влиятельное. Мы не можем рисковать, чтобы нам предъявили иск по обвинению в клевете. Одна мысль об этом… — На секунду он прикрыл рукою

глаза, затем продолжал: — Об этом не может быть и речи. Но мы очень высоко оцениваем ваши писательские возможности, мисс Тэлбот, Флёр, если позволите, и если б смогли, опираясь на наш издательский опыт, вам кое-что посоветовать в отношении второго романа, то, вероятно, станет возможным перевести договор…

— Я не нуждаюсь в ваших советах.

— Тогда вы будете первой среди известных мне авторов, кому, говоря между нами, не потребуется со стороны издательства маленькая помощь. Не следует забывать, — продолжал он, словно я была неспособна испытывать отвращение, — что автор — это сырье для издателя.

Я сказала, что должна посоветоваться со своим юристом, и встала, чтобы уйти.

— Мы очень сожалеем об этом, весьма сожалеем, — произнес он.

Больше я с ним не встречалась.

Я была уже дома, когда до меня дошло, что у него остался единственный машинописный экземпляр «Уоррендера Ловита». Я не хотела просить Ревиссона Ланни мне его возвращать, не посоветовавшись с Солли Мендельсоном, — опасалась расторжения договора; меня не покидала надежда, что Солли изыщет способ как-то

уговорить их пересмотреть свое решение. В то же время я понимала, что в дальнейшем не смогу иметь дело с «Парк и Ревиссон Ланни». Потрясение и разочарование обрушились на меня так внезапно, что я забыла о самом существенном и главном — забрать у них текст книги. Я все же позвонила Ревиссону Ланни. Ответила секретарша. Он занят, но чем она может помочь? Я сказала, что буду премного обязана, если она вышлет мне запасной экземпляр гранок: я хочу просмотреть «Уоррендера Ловита», но так заложила оригинальную рукопись, что сама не найду.

— Пожалуйста, не вешайте трубку, — вежливо попросила она и отлучилась на пару минут, как я поняла, за соответствующими указаниями. Вернувшись, она сообщила:

— Очень жаль, но набор разобран.

Не будучи в то время знакомой с типографским жаргоном, я сказала:

— Кем именно разобран?

— Разобран в смысле рассыпан, мисс Тэлбот. Книга снята с производства.

— А как же с гранками?

— Гранки, естественно, уничтожены.

— Благодарю вас.

На другой вечер мне удалось дозвониться до

Солли по его рабочему телефону. Он велел ждать его в пабе на Флит-стрит и спустился из редакции поговорить со мной накоротке.

— Куда уж им предъявлять тебе иск за клевету, — размышлял он вслух, — это ты подашь на них в суд за отзыв о твоей книге как о клеветнической. Если, понятно, они это сделают в письменном виде. Но тебе это обойдется в целое состояние. Лучше забери у них рукопись, а договором своим, скажи, пусть подотрутся. Следующего романа им не давай. Не волнуйся. Мы найдем тебе другого издателя. Но рукопись забери. У тебя на нее полное право. По закону. Ну и дура же ты, что не оставила себе копии.

— Но ведь у меня оставался оригинал. Откуда мне было знать, что Дотти или кто-то еще его у меня сопрет?

— Я бы сказал, — заметил Солли, — что это Дотти и больше никто. Она вела себя с твоим романом как последняя дура. Впрочем, это хороший знак — когда люди из-за написанного ведут себя последними дураками, хороший знак.

Лично я ничего хорошего в этом не видела. Домой я вернулась около десяти. На следующий день я запланировала извлечь из издательства машинописный экземпляр книги, а также вплот-

ную заняться вызволением у Дотти рукописи. Я гнала от себя мысль о том, что все экземпляры моего «Уоррендера Ловита», возможно, уже уничтожены, но она возвращалась с настойчивостью кошмара — мысль, что, возможно, нигде, буквально нигде в целом мире, нет больше моего «Уоррендера Ловита».

Потом загремел телефон. Звонила сиделка леди Эдвины.

— Я с утра пытаюсь до вас дозвониться, — сказала она. — Вы нужны леди Эдвине. У нас сегодня такой страшный день. Миссис Тимс и сэра Квентина вызвали ни свет ни заря — померла их знакомая, бедняжка леди Бернис Гилберт. Когда они вернулись, то про вас спрашивали. А потом снова ушли. Леди Эдвина так и заходится смехом — истерика. Сейчас она засыпает — я ей таблеток дала. Но она хочет вас видеть, как только…

— Отчего умерла леди Бернис?

— Боюсь, — ответила сиделка с дрожью в голосе, — что она на себя руки наложила.

9

Не сходя с места я приняла твердое решение: чего бы там ни добивался сэр Квентин, из меня ему жертвы не сделать, просто-напросто я не создана для этой роли. Известие о самоубийстве Бернис Гилберт меня ужаснуло, однако и придало мне мужества.

Утром на другой день я отправилась на Халлам-стрит. Теперь я была уверена, что сэр Квентин не только оказывает давление, чтобы похоронить «Уоррендера Ловита», но использует, крадет у меня миф. А что такое роман без мифа? Ничто. Истинный романист, тот, кто понимает свой труд как одно непрерывное стихотворение, — мифотворец, а чудо искусства заключается в бесконечном многообразии способов рассказать одну и ту же историю, и эти способы мифологичны по самой своей природе.

Я была уверена — и моя правота подтвердилась, — что Дотти раздобыла для сэра Квентина комплект гранок «Уоррендера Ловита», чтобы он смог их прочесть. Слишком легкомысленно обошлась я с этим романом, и уж прежде всего

не следовало знакомить с ним Дотти. С тех пор я ни разу не показала знакомым и не читала им вслух своих сочинений до выхода в свет. Но в то время у нас было принято читать свои работы друг другу или посылать для прочтения, чтобы после обсуждать их в своем кругу; такова была литературная жизнь, какой я ее тогда знала.

На Халлам-стрит миссис Тимс все время промокала уголки глаз своим белым платочком.

— Где вы вчера пропадали? Как вы нам были нужны, — сказала она. — Сэр Квентин весь извелся.

— Где он?

Мой тон ее удивил.

— Ему пришлось уйти по делу. Сегодня будет дознание. Бедная…

Но я уже прошла в его кабинет, решительно и резко захлопнув за собой двери, и направилась прямо к ящику письменного стола, где лежали гранки. В ящике не было ничего, кроме связки ключей. Остальные ящики были заперты.

Тогда я пошла к Эдвине. Она сидела в постели, на подносе перед ней стоял завтрак. Сиделка что-то мыла в ванной, примыкающей к Эдвининой спальне. Она заглянула в комнату узнать, кто пришел.

Эдвина пребывала в нормальном для нее состоянии. Она сказала:

— Самоубийство. Совсем как та женщина у вас в романе.

— Знаю.

Я села на краешек постели и позвонила в «Парк и Ревиссон Ланни» попросить вернуть мне машинописный экземпляр «Уоррендера Ловита».

— Пожалуйста, не вешайте трубку.

Девушки не было несколько долгих минут, и я успела сообщить Эдвине, что мою книгу не будут печатать.

— Будут, будут, — сказала Эдвина, — об этом я позабочусь. Мой друг…

На том конце провода секретарша проговорила в трубку:

— Боюсь, мы уничтожили находившийся у нас экземпляр. Мистер Ланни специально для вас выложил рукопись на свой письменный стол, но вы ее не забрали, и он решил, что она вам не нужна.

— Я не видела на столе никакой рукописи. Уверена, что ее и не было.

— Но мистер Ланни утверждает, что он для вас ее приготовил. Он говорит, что выбросил рукопись. Нам, мисс Тэлбот, негде хранить рукописи. Мистер Ланни говорит, что за рукописи мы не

несем никакой ответственности. Это указано в договоре.

— Передайте мистеру Ланни, что я поговорю со своим адвокатом.

— Вот именно, — сказала Эдвина, когда я положила трубку, — пусть знают, что вы поговорите со своим адвокатом.

— Нет у меня никакого адвоката. Да и говорить все равно бесполезно.

— Да, но теперь у них будет о чем подумать, — заметила Эдвина. Она взяла с подноса хрустящий гренок, намазала маслом и протянула мне. Я грызла его, раздумывая, как бы ухитриться написать «Уоррендера Ловита» заново от точки до точки. Но я знала, что не смогу. Если все экземпляры, включая гранки, которыми завладел сэр Квентин, и вправду уничтожены, то навсегда утрачена и непосредственность книги. Я не сказала Эдвине, что лишилась издателя по милости сэра Квентина; в целом старая дама успешно справлялась с тем, что произвела на свет такую дрянь, и незачем было лишний раз напоминать ей об этом. Мне снова довелось подумать о том, как мужественно Эдвина умеет смотреть в лицо фактам, когда она в своем черном атласном платье и жемчугах, тихая, но живая до кончиков

ногтей, сидела в инвалидной коляске на похоронах сэра Квентина.

В то утро мне было полезно посидеть у нее на постели и погрызть гренки, которые она неустанно намазывала для меня маслом и джемом: дряхлые звездно-полосатые флаги — ее унизанные драгоценностями длинные пальцы — так и порхали среди крохотных фарфоровых тарелок и мисочек.

Один раз зашла Берил Тимс — «проверить, все ли в порядке». Сиделка по имени мисс Фишер, добрейшая душа, появилась из ванной и заверила ее, что все прекрасно. Эдвина смерила Берил Тимс взглядом. А я себе грызла гренок.

— Не попросить ли нам, — сказала мисс Фишер, — свежего чаю и еще одну чашечку?

— Зачем? Флёр может пойти на кухню и там выпить со мной кофе.

— Нянечка просила чаю, — сказала Эдвина. — И пусть нам его подадут сюда.

— Флёр ждет работа. Нам ведь не хочется отрывать Флёр от работы, правда? — вопросила Английская Роза. — Вы же знаете, что вчера мисс Фишер не взяла положенные полдня отдыха. Мы надеемся, что сегодня с нами посидит Флёр, правда? Я буду на дознании вместе с сэром Квен-

тином, так что вы с Флёр вместе и почаевничаете, ладно?

Она не обращалась ко мне непосредственно, но у меня были свои планы, так что возможность провести в квартире несколько часов с одной лишь Эдвиной показалась мне крайне заманчивой. Когда мисс Фишер заявила: «Что вы, я и подумать не могу бросить леди Эдвину в этот тяжелый час», я тут же возразила, что с удовольствием приготовлю днем чай и вообще пригляжу за леди Эдвиной.

— Мисс Фишер нуждается в отдыхе, — произнесла Берил Тимс.

— Целиком согласна с миссис Тимс, — сказала я, и, вероятно, это было первый и последний раз, что я с ней согласилась.

На том и порешили. Мисс Фишер вышла следом за миссис Тимс с тазом выстиранного белья, а я принялась названивать Солли Мендельсону.

Я не любила звонить Солли днем, когда он отсыпался после утомительной ночной смены. К тому же я всегда считала, что у него есть своя личная жизнь, какая-то женщина, с которой он никого не знакомил, но которая занимает его свободное время; о таких вещах не принято допытываться, да и в самом Солли было нечто, не позволявшее

его настоящим друзьям лезть в его внутренний мир. Я знала, что телефона он по крайней мере не отключает — на случай, если вдруг позвонят из отдела новостей его газеты, и чрезвычайные обстоятельства, в каких я очутилась, заставили меня рискнуть. Он ответил мне сонным голосом, но, когда я настойчиво и кратко попросила его сделать то-то и то-то, Солли, не дожидаясь объяснений, сказал, что в точности исполнит мою просьбу.

Без четверти четыре Солли прибыл на Халлам-стрит — большой, нескладный, небритый и закутанный в шарф. Со своей огромной коричневой дорожной сумкой он здорово смахивал на взломщика. Эдвина сидела в кресле в гостиной.

Сэр Квентин не стал заходить домой: он должен был встретиться с Берил Тимс на коронерском[17] дознании о самоубийстве Бернис Гилберт в помрачении разума. Как только Берил Тимс вышла из квартиры, я тщательно обследовала кабинет сэра Квентина. Гранки «Уоррендера Ловита» бесследно исчезли. Зато среди ключей в незапертом ящике оказался и ключ от шкафа, в котором, как

---

[17] Примечания: 17

Коронер — должностное лицо, разбирающее дела о насильственной или внезапной смерти при сомнительных обстоятельствах.

любил повторять сэр Квентин, «кроются тайны».

В шкафу во всех ящиках хранились досье с записями сэра Квентина о членах «Общества автобиографов». Тут были миссис Уилкс и баронесса Клотильда дю Луаре, мисс Мэйзи Янг, отец Эгберт Дилени, сэр Эрик Финдли и покойная Бернис «Гвардеец» Гилберт, вдова бывшего поверенного в делах в Сан-Сальвадоре сэра Альфреда Гилберта… Эти досье представляли для меня интерес. Была еще папка, помеченная «Берил, миссис Тимс», но она не стоила внимания. Я решила забрать эти досье в виде залога за «Уоррендера Ловита», который — я была абсолютно уверена — Дотти выкрала из моей комнаты по указке сэра Квентина.

Но, ожидая Солли, я заодно бегло проглядела одну из автобиографий — мне было любопытно, что нового в них появилось с тех пор, как, отстранив меня, сэр Квентин взял дело в свои руки. И мне-таки хватило времени заметить, листая страницы досье, что хотя сами воспоминания остались в прежнем объеме, в них вложены листки с заметками, частично отпечатанными на машинке, частично написанными от руки сэром Квентином, — знакомые отрывки, более или менее дословно изъятые из моего «Уоррен-

дера Ловита».

Когда Солли позвонил у дверей, я замкнула шкаф с его тайнами. Эдвина, восседавшая при всех регалиях, бурно обрадовалась Солли. Я усадила его рядом с нею — он все еще не мог сообразить, что к чему, — и объяснила сразу им обоим:

— Я намерена забрать воспоминания «Общества автобиографов» домой, чтобы над ними поработать. Этим биографиям настоятельно необходима литературная правка.

До Солли, похоже, начало доходить. Эдвина же со сверхъестественной проницательностью сообразила такое, что даже мне не пришло в голову; она сказала:

— Великолепно придумано! Это положит конец трагедиям. Несчастная «Гвардеец» Гилберт!

Тут я рассказала Солли, что леди Бернис совершила самоубийство и что в эту самую минуту происходит дознание. Я взяла его сумку и вышла, оставив его в обществе Эдвины.

Я уложила досье в Соллину сумку — захватывающее было переживание. Как легко воровать, подумала я и представила, как сэр Квентин уворовывает мою книгу — не только в материальном смысле, но сами слова, фразы, идеи. Основываясь на том немногом, что я успела пробежать

глазами, я поняла, что он умудрился украсть даже придуманное мной письмо от Уоррендера Ловита к другому персонажу, Марджери. Сумка получилась тяжелой. Я стащила ее в прихожую и поставила у парадных дверей.

К моему возвращению Солли запалил в гостиной красивую серебряную спиртовку под чайником, в котором Эдвина любила днем заваривать себе чай. Для чаепития было чуть-чуть рановато, но Эдвина, как она выразилась, всегда «томится по чаю». Солли начал угощаться печеньем и пшеничными лепешками с маслом. Эдвина спросила:

— Где досье? Вы сложили их в ту сумку?

Я сказала, что да. Сэру Квентину, сказала я, они, конечно же, не понадобятся сию секунду, и он поймет, что мне и в самом деле удобнее всего поработать над ними дома.

— Забирайте их, душенька, — взвизгнула Эдвина. Потом она заявила: — Вам не вернуть своего романа, если не постараетесь заполучить его обратно.

Тогда и Солли спросил:

— Ты так и не нашла гранки?

— Нет, — сказала я, — книга исчезла до последней страницы.

— Я это знала, — сказала Эдвина. — Так или эдак, а знала. Они думают, я не знаю, что у нас тут происходит, потому что сплю целыми днями. Только я не сплю.

Она стала поименно перечислять издателей, с которыми лично знакома и которые, стоит ей только глазом моргнуть, опубликуют мою книгу. Кое-кого из них, если придерживаться истины, вот уже полвека как не было в живых, но мы обошли этот вопрос и чаевничали в весьма радужном настроении.

Сэр Квентин и миссис Тимс вернулись раньше, чем я рассчитывала, — до ухода Солли.

— Чья это сумка, — спросил, входя в комнату, сэр Квентин, — стоит там в прихожей?

— Моя, — ответил Солли, вставая.

— Барон фон Мендельсон, — сказала я, — заглянул к нам проездом. Позвольте представить: сэр Квентин Оливер — барон фон…

— Ох, умоляю вас, дорогой барон, пожалуйста, сядьте…

И сэр Квентин, придя в свой обычный экстаз по поводу титула, принялся увиваться вокруг небритого Солли, упрашивая его присесть, остаться, побыть еще немного.

Но Солли, твердый и неумолимый, несмотря на

свежеобретенный титул, вежливо попрощался со всеми и вышел, прихрамывая и слегка запнувшись в дверях: он не ожидал, что сумка окажется такой тяжелой.

— Самоубийство вследствие помрачения рассудка, — объявил сэр Квентин, возвратившись в гостиную. — Большая доза снотворного в сочетании с пинтой виски. Не забыть проследить, чтобы в свидетельство о смерти вписали что-нибудь поприличнее.

— Скажи им, — завопила Эдвина, — пусть подотрутся этим свидетельством.

— Матушка!

Я ушла через несколько минут и разорилась на такси, чтобы нагнать Солли.

10

Не следует полагать, будто изложение схемы содержания способно передать стиль и общую атмосферу романа. Мои ссылки на книгу были путаны и бессвязны: я не могла в нескольких словах воспроизвести «Уоррендера Ловита»; да и вообще не в том дело, чтобы избавить или, напротив, не избавлять кого-то от необходимости прочитать саму книгу.

Но мне, безусловно, по силам справиться с главной задачей — рассказать о том, как сэр Квентин Оливер пытался уничтожить роман «Уоррендер Ловит», в то же время присвоив и используя в своих целях существо сотворенной мною легенды.

Помнится, в раннем детстве меня заставляли писать в тетрадке: «Необходимость — мать Изобретательности». Образец великолепного мастерства каллиграфии уже красовался на верху страницы, и нам надлежало для совершенствования почерка переписать эту сентенцию, заполнив ею нижеидущие строчки, что я исправно делала, не отдавая себе отчета в том, что не только улучшаю свое чистописание, но

одновременно подсознательно усваиваю урок общественной морали. Были и другие сентенции — «Не все то Золото, что Блестит», «Честность — Лучшая Политика»; еще вспоминаю «Благоразумие — Главное Достоинство Храбрости»[18]. Приходится признать, что сии наставления, над которыми я тогда не думала по своему детскому легкомыслию, но в которых усердно украшала завитушками прописные буквы, оказались, к моему удивлению, совершенно истинными. Им, может быть, недостает великолепия Десяти Заповедей, зато они ближе к существу дела.

И уж поскольку необходимость — мать изобретательности, то неудивительно, что, когда Солли оставил меня с тяжелой сумой бед, забранных на Халлам-стрит, я первым делом обзвонила кое-кого из знакомых, предупредив, что ищу новое место.

Засеяв это поле, я до поры до времени погрузила сумку с биографиями на дно платяного шкафа и занялась планами, как заполучить назад украденную рукопись «Уоррендера Ловита». Меня подмывало позвонить Дотти и открыто обвинить ее в краже. Благоразумие — главное достоинство

---

[18] Примечания: 18
У. Шекспир. Король Генрих IV. Часть I, акт V, сцена 4.

храбрости; с трудом, но я удержалась от этого шага. Что-то мне подсказывало, что нынешняя Дотти не совсем та, с какой я была в основном на дружеской ноге, хотя время от времени ругалась до остервенения. В ней нечто изменилось — почти наверняка под влиянием сэра Квентина. Я порвала ее биографию, понадеявшись, что она последует моему совету и впредь откажется писать воспоминания для сэра Квентина.

Я предалась размышлениям о грубом произволе, что претерпела со своим романом от Дотти, сэра Квентина, Ревиссона Ланни; попыталась представить себе различные доводы, которые они могли бы привести в свое оправдание: что я сошла с ума, моя книга — бред, она зловредная, клеветническая, нельзя допускать ее публикации. На память мне пришла фраза из «Дневников» Джона Генри Ньюмена: «…тысячеустая молва меня порочит…» Не успела я об этом подумать, как решила прекратить дальнейшие размышления. Пресечь. Отключиться.

Тем временем, как оно часто бывает, стоит лишь мне погрузиться в размышления, план действий понемногу сам собой сложился у меня в голове. Дотти, решила я, едва ли успела настолько поддаться внушениям сэра Квентина, что

уничтожила рукопись, но я совсем не собиралась рисковать, напугав ее до такой степени, чтобы она выкроила время заняться этим. Я решила так или иначе выкрасть назад «Уоррендера Ловита». Для чего требовалось заполучить ключи от ее квартиры и обеспечить, чтобы она на несколько часов отлучилась из дому и заведомо не смогла вернуться раньше положенного срока. Больше того, я должна была быть абсолютно уверенной, что Лесли не ворвется в квартиру, пока я ее обшариваю. Меня охватило радостное возбуждение, сродни тому, с каким я пишу книги. Я сознательно зафиксировала эти планы в своей творческой памяти, чтобы превратить их в заключительные главы «Дня поминовения», что и сделала со временем в свойственной мне манере перевоссоздания. Меня часто спрашивают, откуда берутся замыслы моих романов; могу сказать лишь одно — такова моя жизнь, она претворяется в какие-то иные формы художественного вымысла, причем сходство уловить могу только я сама. Обвинение, будто «Уоррендер Ловит» — это клевета на «Общество автобиографов», возмутило меня отчасти еще и потому, что если б я даже придумала своих персонажей не до, а после того, как поступила на службу к сэру Квентину, если бы мне даже и

захотелось запечатлеть этих жалких людишек в художественной форме, то их все равно нельзя было б узнать, они бы и сами себя не признали, и даже в этом случае о клевете не могло бы идти речи. Такой уж я человек — художник, а не репортер.

Но вернемся к моему плану. Мне требовался сообщник, а может, и двое. Причем нужны были такие сообщники, которые либо целиком и полностью считают мои действия правомерными и законными, либо не до конца представляют себе мой план.

В первую очередь я прикинула, не удастся ли как-нибудь выманить ключ от квартиры у Лесли. Это бы мне, думаю, удалось. Уверена, что одной моей привлекательности в глазах Лесли было достаточно, чтобы так или иначе осуществить задуманное. С моей стороны это потребовало бы времени и определенных усилий. Мысль об усилиях в конце концов заставила меня отказаться от этого проекта. Не то чтобы мне трудно было представить, тем более в обстоятельствах, о которых я же сама и позаботилась бы, как это я буду спать с Лесли, — в нем и на самом деле было много мужского обаяния. Я знала, что могу попросить его занести нужную книгу, как ча-

сто делала в прошлом; могу попросить помочь мне разобраться с отрывком из Ньюмена, как часто делала в прошлом, когда мне требовался какой-нибудь справочник для работы над пространными статьями, которые приносили мне мало денег, но много хвалы, и которые я увлеченно писала в церковные газеты и литературные журналы, превратившись тем самым в неофициального авторитета по Ньюмену, так что мне всегда поручали писать о его книгах. Но то, что я не могла вот так просто взять да и попросить у Лесли ключ, что я не могла просто поделиться с ним всей этой историей и склонить на свою сторону, и заставило меня от него отказаться. Конечно же, пришлось бы снова делить с ним постель и возродить прежнюю близость, прежде чем рискнуть поделиться с ним хотя бы половиной своих проблем. Номер не пройдет, подумала я. Чего естественней — оставить его у себя на ночь, раз уж я собиралась провести с ним весь вечер, и все равно — номер не пройдет. И его красивое молодое лицо, которое я себе мысленно представляла, отступило на задний план — лицо много красивее, чем у Уолли Макконахи. У этого-то черты были крупные, а фигура тяжеловатая, не то чтоб такая уж приземистая, но и до

Леслиной грации ему было далековато. Однако же, по мере того как Лесли отступал перед моим мысленным взором, на его месте стало возникать лицо Уолли. Уолли начинал вызывать у меня нежные чувства.

Тут мне в голову пришло новое соображение: как ни странно, но друзья познаются лучше, когда представляешь их в различных воображаемых ситуациях. Стоило мне подумать об Уолли — что будет, если придется рассказать ему про «Уоррендера Ловита», и про Дотти (ее он не знал), назвавшую роман бредом, и про Тео и Одри Клермонтов (этих он знал), которые так непонятно себя повели, и про моего издателя, который расторгнул договор из-за недоказанного подозрения в клевете, — если я расскажу Уолли всю эту историю и в придачу о том, как сэр Квентин позаимствовал из романа, а Дотти его, скорее всего, просто украла и как я сама стащила биографии, — нет, нереальным и несбыточным показалось мне, чтобы все это я рассказала Уолли. Что-нибудь одно — еще куда ни шло, но не всё. Я дала Уолли отвод, потому что инстинкт мне подсказывал, как он это воспримет. Скажем, я ему говорю:

— И знаешь, Уолли, самоубийство Бернис Гил-

берт так похоже на самоубийство одной героини из моего романа.

А он мне:

— Ну, Флёр, это, знаешь, как-то неправдоподобно. «Гвардеец» Гилберт всегда была малость не того, вот и…

И все время в подсознании у него будут мерцать слова, отражающие его отношение к собственной жизни, собственной работе, собственному месту в обществе: не вмешивайся ты в эту историю, Уолли. Он будет говорить самому себе: ох, уж эти писатели, одно слово — богема. А мне он скажет:

— Я бы, Флёр, оставил все как есть, честное слово. Уверен, твоя рукопись сама найдется.

Или, допустим, я бы сказала ему (а я не исключала, что могла бы сказать):

— Уолли, прошу тебя, сходи в театр с моей знакомой, ее зовут Дотти. Я все устрою. Мне нужно поискать у нее в квартире свой роман.

На это Уолли, вероятно, ответил бы:

— Флёр, дорогуша, я бы на твоем месте не стал рисковать.

Что следовало понимать как «Не хочу рисковать и путаться в это дело… еще скандал…»

Откуда мне знать, как бы оно было в действительности: ведь в действительности я не

обратилась к Уолли за помощью. Уолли — это была любовь, и я хотела его сохранить, потому что мне было с ним здорово и могло быть еще лучше. А это означало, что храниться ему надлежало в той ячейке моей жизни, куда господу богу угодно его поместить, — отдельно от тогдашних моих очень загадочных и граничащих с галлюцинациями забот.

Когда я дошла в своих размышлениях до этого места, позвонил Уолли. Он «сию минуту удрал» и чем я сейчас занимаюсь? Эта фразочка была из любимых у Уолли — «сию минуту удрал»: откуда, спрашивается? Со службы? С приема? Я его ни о чем не расспрашивала, однако заметила на протяжении своей жизни, что служащие Министерства иностранных дел, как правило, имеют обыкновение появляться со словами «сию минуту удрал» и не хватает смелости спросить их, откуда именно: а вдруг это Государственная Тайна?! Во всяком случае, я сказала, что не занимаюсь ничем, нет, не обедала, да и к чаю почти не притронулась. И мы согласились, что это блестящая мысль: через полчаса я буду готова, он меня встретит, и мы отправимся обедать в Сохо. Правда ужасно, спросил он, прежде чем повесить трубку, что «Гвардеец» Гилберт такое выкинула?

Я сказала, что это кошмарно.

Перед уходом я заперла платяной шкаф, а ключ взяла с собой.

За обедом Уолли завел разговор о «Гвардейце»:

— Ты ее видела после того приема?

— Один раз, мельком, в тот самый день, когда ее не стало. Она приходила на Халлам-стрит. Она казалась чем-то расстроенной.

— Чем именно? — спросил Уолли.

— Ну, я не знаю, откуда мне знать.

— У меня на душе кошки скребут, — сказал Уолли. — Так, думаю, со всеми бывает, у кого знакомые кончают с собой. Чувствуешь, что мог бы как-то помочь, да не помог. Что-то сделать, если б заранее знал.

— Ну, ты же не знал.

— А мог бы. Она мне звонила и просила кое-что передать. Это было через несколько дней после приема. Ей ответил один мой сослуживец, она просила, чтобы я ей позвонил. Он сказал, что голос у нее был совершенно безумный. Боюсь, как раз это-то меня и отпугнуло. Не было у меня тогда мочи с ней возиться. «Гвардеец» была из приставучих, ты же знаешь, уж как вцепится, так вцепится. Не было у меня на нее сил.

— Может, кто-то доводил ее до такого состо-

яния?

— Мне это приходило в голову. А почему ты об этом сказала?

— Интуиция. Я, как ты знаешь, романистка.

— Что ж, может быть, ты и права, — заметил он. — Видишь ли, тогда, после приема, она названивала и другим своим знакомым. Я знаю троих из них. Они, понятно, страшно расстроены. Все они или не ответили на ее звонок, или чем-то отговорились.

— Они были на приеме? — сказала я.

Подумав с минуту, он ответил:

— Да, были. Почему ты об этом спрашиваешь?

— Может, она их проверяла, хотела выяснить, есть у нее настоящие друзья или нет. Может, она и прием-то затеяла только для этого. Кто-то же мог ее на это подбить, поддеть, убедить, что настоящих друзей у нее и нету.

— О господи, Флёр, очень уж ты, знаешь ли, все раздуваешь. Господи боже ты мой, надеюсь, что ты ошибаешься. Я только потому и пошел на прием, что у нас принято, что ли, появляться на коктейлях. Если удается удрать. О господи, меня-то она, конечно, и не думала проверять.

Мне стало грустно за Уолли. Я пожалела, что поделилась с ним своими мыслями. Я подумала о

гречанке из «Уоррендера Ловита», покончившей с собой, но Уолли сказал, что у Бернис Гилберт явно возникло умственное расстройство на почве каких-то личных страхов.

— В таких случаях никто не может помочь, никто, — сказала я. — Вердикт — самоубийство в помрачении разума, Уолли, — сказала я. — Как в большинстве случаев с самоубийцами. Тут, Уолли, уже ничем не поможешь.

— Честно говоря, меня удивило, — продолжал Уолли, — как она умудрилась закатить такой роскошный прием, у нее ведь и в самом деле получилось довольно внушительно, правда? А денег у нее, как ты знаешь, было кот наплакал. Половина жратвы попала на стол с черного рынка. И гостей было человек триста — помнишь, они всё приходили, когда мы ушли?

С этими словами он разом пришел в чувство и мне улыбнулся. Наклонившись через стол, он взял меня за руку.

— Не будем впадать в патологию. Поговорили — и хватит, — сказал он. — В конце концов, встретились-то мы на приеме у бедняги «Гвардейца», верно?

— Верно.

— Ну, и нечего мне жалеть, что я пошел.

Я сообщила Уолли, что подыскиваю другое место, потому что ухожу со службы.

— Это надо обмыть. Хочешь, вернемся выпить на Эбьюри-стрит?

Я сказала, что вообще-то не расположена веселиться допоздна. То есть всю ночь.

— Тогда, может, подадимся в «Горгулью». Не против?

Я поколебалась, но потом сказала: ладно, но сначала мне нужно заскочить домой. Уолли отнесся к этому с таким безразличием, словно речь шла о моих месячных. На самом же деле я хотела удостовериться, что сумка с биографиями все еще пребывает на дне платяного шкафа у меня в комнате. Дотти ничего не стоило ко мне проникнуть. Она уже завоевала расположение привратника, подарив ему образки Святой Терезы из Лизье. Я знала, что сэр Квентин скоро обнаружит пропажу биографий.

Оставив Уолли дожидаться в такси, я стремглав кинулась к себе.

Комната выглядела как обычно. Все стояло на своих местах. Биографии по-прежнему лежали в шкафу. Глупо было так нервничать. Я заперла шкаф и уже выходила из комнаты, когда появился привратник. Да, Дотти и в самом деле

наведывалась в мое отсутствие.

— Она ждала в моей комнате?

— Нет, мисс. Вы же наказывали последний раз, как дама вас тут дожидалась, чтобы больше к вам в комнату никого не пускать.

— Большое спасибо, Гарри. Я совсем об этом забыла. Вы всё сделали правильно. Большое спасибо.

Мой вопрос его озадачил, и я, чтобы сгладить впечатление, дала ему два шиллинга. Выбегая к такси, я снова подумала, что у меня начинают пошаливать нервы. После пропажи «Уоррендера Ловита» я самым решительным образом предупредила не только Гарри, но также уборщицу и квартирохозяина, что запрещаю впускать к себе кого бы то ни было в мое отсутствие. Я решила взять себя в руки и собраться с духом.

Мы отправились в «Горгулью». Я заказала мятный ликер, а Уолли — виски. В заведении находились три незнакомые нам компании, а в темном уголке за рюмкой водки сидел в полном одиночестве какой-то худосочный юноша. Я присмотрелась — это был Серж Лемминг.

— Вон того парнишку в углу, — сказала я Уолли, — зовут Серж Лемминг.

Уолли это чрезвычайно развеселило.

— Он пишет под псевдонимом Леандр. Он поэт.

Пока я говорила, Серж посмотрел в нашу сторону, и я ему помахала.

— Хочешь, пригласим его к нам за столик? — спросил Уолли.

— Хочу.

Серж немедленно принялся строить Уолли глазки, жестикулировать своими слабыми ручками и как-то подергиваться. Уолли принимал эти знаки внимания весьма благосклонно.

— Мой друг, — сообщил Серж, — уехал в Ирландию на три недели. — Он сидел, повернувшись к Уолли лицом на три четверти, следовательно, на столько же ко мне — спиной. Уолли спокойно пересел, так что Серж и мы оба оказались друг к другу лицом. — Он подарил мне этот галстук. Вам нравится?

— Весьма эффектно, — ответил Уолли и повел светскую беседу, так ее поворачивая, что Сержу волей-неволей пришлось уделять какое-то внимание и моей особе. Серж совершенно не замечал этих маневров: при искреннем благорасположении ко всем присутствующим он в данный момент целиком и полностью был сосредоточен на Уолли.

Но когда я на минутку завладела вниманием

Сержа, я воспользовалась этим и без всяких околичностей спросила:

— Скажите, Серж, Лесли взял ключи от квартиры Дотти с собой в Ирландию?

— Нет, лапушка, — сказал он. — Лесли оставил их на нашем туалетном столике, где они и лежат. А что?

Тут я объяснила им обоим, как мне необходимо получить эти ключи в глубокой тайне, потому что я хочу проникнуть к Дотти в квартиру, чтобы оставить там для нее один маленький сюрприз. Уолли я сообщила, что друг Сержа — мой старинный приятель, а Дотти — его жена и тоже моя приятельница. К тому моменту, как мы с Уолли допили свои рюмки и одновременно просигналили друг другу «Встаем и уходим», Серж обещал одолжить мне ключи, навек сохранив это в глубокой тайне. В ту ночь я уснула, так и не надумав, кого бы попросить сводить Дотти в театр. Я не забыла о Солли: у него было два свободных вечера в неделю. Мой милый Солли, неизменно добрый и обязательный, мне не хотелось становиться ему в тягость. Эти два вечера, скорее всего, были нужны ему самому. Кроме того, он был поэтом, и притом настоящим. Тут я сообразила, что Солли в любом случае не подходит: он не нравился Дотти.

Уговорить ее сходить с Солли в театр почти безнадежное дело. Я вспомнила, что оба раза, когда они с Солли встречались, она потом спрашивала, что я в нем нахожу. Этого я понять не могла, потому что все мои остальные друзья, включая Лесли, любили Солли. Она заявила, что, по ее мнению, Солли привлекателен, но вульгарен. Солли не давал ей ни малейшего основания так говорить. Он позволял себе браниться и богохульствовать только в компании самых близких и доверенных друзей; в Доттином же присутствии он не сказал ничего такого, что могло бы ее возмутить. Я сказала, что не знаю другого человека, у кого в душе было бы меньше вульгарности.

— Ну, — заявила Дотти, — я говорю не о духовной вульгарности.

— А разве есть еще какая-то другая вульгарность? — сказала я, на что, вероятно, можно было бы и возразить. Но Дотти оставила мой вопрос без ответа, видимо почувствовав, что в споре я могу взять верх, хотя бы только на словах.

Итак, я отошла ко сну, размышляя о том, что в Солли нет ни грана той вульгарности, какой отличалась Дотти, Английская Роза.

Утром я проснулась с точно разработанным планом действий. Я дважды принимала решение

не возвращаться на Халлам-стрит, и вторично мне приходилось туда идти.

Мне нужно было связаться с Эдвиной. Дозвониться до нее у меня было мало шансов. Всякий раз, как я звонила в нерабочее время, Берил Тимс или сэр Квентин находили отговорки — она у них обычно либо спала, либо не очень хорошо себя чувствовала. Если она сама хотела связаться со мною в субботу или воскресенье, это было легко: у ее постели стоял телефон, а иногда сиделка звонила по ее поручению.

Значит, мне нужно было видеть Эдвину. К тому же имелся великолепный предлог зайти на Халлам-стрит — лично подать заявление об увольнении по всей форме, получить расчет и забрать медицинскую страхкарту, обклеенную изнутри гербовыми марками, как стенки кукольного домика — игрушечными обоями, и прочие бумажные доказательства моего существования, вроде налоговой декларации. Все это я собиралась затребовать по почте — до того, как проснулась с уверенностью, что должна повидаться с Эдвиной.

Утро выдалось дождливое и довольно холодное; была суббота.

— Сэр Квентин отбыл в свое поместье в Нор-

тумберленде, — объявила Берил Тимс, когда я пришла к ним около десяти часов. Сэр Квентин неизменно именовал загородные дома или дома за границей «поместьями». — Он отбыл в половине девятого на своей машине.

— Где он достал бензин? — сказала я резко. Бензин все еще отпускали по карточкам, отменить которые должны были в этом месяце, но позже, а точно — двадцать шестого числа. Я запомнила эту дату, потому что обещала Уолли провести с ним субботу и воскресенье в Марлоу, где у него был домик и куда он собирался повезти меня на двадцать седьмое и двадцать восьмое в своем автомобиле, чтобы отпраздновать этим отмену ограничений на горючее. Но пока они действовали и были очень суровыми: несколько видных лиц угодили в тюрьму за их нарушение. Так что мой вопрос «Где он достал бензин?» был довольно паскудным вопросиком, в нем просквозила грозная гражданская добродетель, с которой в те дни постоянно взывали обозленные и обиженные. Берил Тимс заволновалась.

— Я знаю, то есть я совершенно уверена, — забормотала она, — что у сэра Квентина имеются дополнительные карточки. Их просто не может не быть — ведь на его несчастную мать тоже

что-то полагается, разве не так?

— Ах, так он взял с собой леди Эдвину?

— Нет, она сейчас завтракает.

— Тогда он не имел права пользоваться ее карточками, или я ошибаюсь? — сказала я. — С этим придется разобраться, — продолжала я голосом, от которого даже мне самой стало не по себе. — Да и была ли в этой поездке такая необходимость? Выясним.

Я прошла мимо Берил прямо к кабинету. Двери были заперты — запоздалая предосторожность.

— Сэр Квентин, — сказала Английская Роза (на ней был купленный к пасхе гарнитур отвратительного розового цвета), — оставил четкие распоряжения не пускать вас к нему в кабинет. Если не ошибаюсь, сэр Квентин послал вам письмо с отказом от места. У него теперь новая секретарша, и эта дама приступает к своим обязанностям с понедельника.

— Хорошо, я повидаюсь с леди Эдвиной, — сказала я, свернув в коридор, что вел к ее комнате. Берил от меня не отставала:

— Сэр Квентин велел мне, если вы позвоните или придете, попросить вас немедленно вернуть работу, которую вы забрали к себе. Ее не следовало выносить за стены этого дома.

Я подошла к комнате Эдвины. Берил вцепилась мне в руку.

— Вы можете, — сказала она, — повидаться с леди Эдвиной. Вы можете даже, — сообщила она, — взять ее завтра к себе, чтобы дать отдохнуть сиделке Фишер. У леди Эдвины наблюдается учащение непроизвольных мочеиспусканий, врач предписал беречь ее от волнений и неприятностей, и только по этой причине вам дано разрешение с ней встречаться — при условии, что она ничего не будет знать о ваших разногласиях с сэром…

Именно в эту минуту сиделка открыла дверь.

— Флёр! Доброе утро, — сказала она, а леди Эдвина завопила из постели:

— Милости просим на чай с гренками! Тимс, будьте добры — свежего чая и чистую чашку.

— Уже четверть одиннадцатого, — заметила Берил.

— Чаю, и поживее! — взвизгнула Эдвина.

— Я схожу приготовлю, — сказала мисс Фишер.

Я присела на постель к Эдвине, она намазала мне маслом гренок и тихо сказала со множеством нелепых ужимок:

— Он завел новую секретаршу.

— Дотти?

— А кого же еще! Ха-ха. Тимс он приказал сжечь гранки какой-то книги. Пепел она спустила в унитаз. Развела грязищу, черным-черно.

Я вплотную к ней придвинулась и очень ясно и отчетливо проговорила несколько фраз. Я сказала:

— Слушайте, Эдвина, мне нужно, чтобы вы хорошо все усвоили. Завтра днем мне необходимо часа на три избавиться от Дотти. Я скажу, что завтра у меня никак не выходит взять вас к себе. Если мисс Фишер начнет предлагать пожертвовать своим свободным днем, не соглашайтесь ни в какую. Требуйте Дотти. Устройте тарарам, чтобы Дотти пришлось явиться. И смотрите — продержите ее здесь никак не менее трех часов.

Глаза у старухи загорелись, рот превратился в большое «О», она трясла головой в такт моим предложениям. Она усваивала.

— Пока Дотти будет с вами, притворяйтесь больной. Заставьте ее позвонить вашему врачу. Если его не окажется дома, пусть вызывает другого. Не стесняйтесь лишний раз намочить панталоны. Во что бы то ни стало заставьте Дотти сидеть с вами и не отпускайте ее.

Она кивнула.

— Три часа.

— Три часа, — сказала Эдвина.

Когда я на другой день пришла к Дотти в два часа с хозяйственной сумкой, я позвонила в квартиру — убедиться, что там никого нет. Никто не ответил. Открыв дверь ключом, я вошла и закрыла ее с внутренней стороны.

— Обвиняемая прекрасно знала расположение комнат, — сказала я про себя, направившись прямиком в ванную, где страшилась найти в унитазе следы пепла от бумаги. Следов не было. Я прошла в спальню, сняла пальто и положила на кровать вместе с сумкой. В сумке у меня лежал маленький подарок, обернутый в розовую бумагу, — шелковый, ручной вышивки футляр для носовых платков, которым я ни разу не пользовалась и который более подходил Английской Розе, нежели таким, как я. Если б меня здесь застукали, я собиралась предъявить футляр в виде алиби.

В спальне я бросилась к ее письменному столу. Из пишущей машинки торчал заправленный лист бумаги: Дотти, судя по всему, печатала набело с испещренной поправками рукописи, лежавшей на столе в раскрытом скоросшивателе. На рукописи было бы интересно задержаться — это был определенно роман Лесли; я глянула на обложку скоросшивателя, чтобы удостовериться,

и, не мешкая, перешла к главному. На столе «Уоррендера Ловита» не было, не было его и в ящиках стола, в одном из которых я, однако, обнаружила письмо трехнедельной давности на бланке «Парк и Ревиссон Ланни». Оно начиналось с «Дорогая Дотти (если позволите)...». Читать его у меня не было времени, но какое-то суеверное чувство подтолкнуло меня убрать с постели пальто и сумку, чтобы к ним не пристала зараза. Я бросила их на пол и продолжала осмотр спальни. В шкафах, на шкафах, под подушками, под матрацами. Под кроватью стоял чемодан. Я его выволокла. Дотти держала в нем летнюю одежду. «Уоррендера Ловита» нигде не было. Оставались гостиная, вторая спальня, которая заодно служила Лесли кабинетом, кухня и бельевой шкафчик в ванной. Я перерыла шкафчик — ничего. Наиболее вероятным местом, как я чувствовала, был кабинет Лесли, поэтому я оставила его напоследок. Я начала перетряхивать гостиную — поднимала и клала на место подушки с дивана и кресел, смотрела за шторами и под штабелями старых журналов. Прошло около часа, и все эти привычные предметы, которых я касалась и под которые заглядывала, заронили у меня сомнение в том, что Дотти — несносная, но давно и хорошо знако-

мая моя Дотти — вообще взяла мою рукопись.

Я разделалась с гостиной, расставив все по местам, и вышла в маленькую прихожую, чтобы пройти в кабинет Лесли — дверь туда была распахнута настежь, являя взору разбросанные бумаги и полки с книгами — зрелище, привычное мне еще со старых времен. Помнится, я даже успела обвести комнату взглядом. Но, минуя прихожую, я заметила под пальто, висевшими у дверей на двух крючках, черную Доттину сумку с выглядывающим из нее вязаньем — уголком красного шарфа. Я вернулась в прихожую. Что-то мне подсказало, что сумку нужно проверить; Дотти наверняка явилась со своим вязаньем в тот вечер, когда ждала у меня в комнате и… Но я уже нащупала пачку размером с лондонскую телефонную книгу — она выпирала на дне этой мерзкой черной сумки. В одну секунду я извлекла пачку на свет, а в другую развязала ее. Мой «Уоррендер Ловит», мой роман, мой Уоррендер, Уоррендер Ловит; мои листы форматом 13x16 дюймов с первыми главами — когда-то я их порвала, потом склеивала; мой «Уоррендер Ловит», *мой, собственный*. Я прижала рукопись к сердцу. Я поцеловала ее. Я пошла в спальню Дотти и уложила рукопись в свою хозяйственную сумку.

Со стола у Дотти я взяла стопу писчей бумаги и засунула на дно ее сумки, аккуратно расположив вязанье поверху. Я надела пальто, взяла в руки собственную сумку и внимательно осмотрела квартиру — все ли на месте. Я расправила покрывало на ее отвратительной кровати, выпустила себя из квартиры и, столь счастливая, пошла своей дорогой.

Я не знаю ни одного художника-творца, кто на своем жизненном пути хотя бы раз не столкнулся с абсолютным злом, воплотившимся в форме болезни, несправедливости, страха, угнетения или любой другой напасти из тех, что могут обрушиться на живого человека. Обратной закономерности не существует: я хочу сказать, что страдают и постигают зло не одни художники. Но мне представляется истиной, что не жил еще такой художник, который бы не испытал, а затем и не признал нечто, сперва до того невероятно злое, что усомнился в его существовании, впоследствии же настолько неоспоримо сущее, что убедился в его истинности. Мне до смерти хотелось поскорее заглянуть в Пандорин ящик сэр-квентиновских биографий. Но сначала требовалось позаботиться о распечатке на машинке «Уоррендера Ловита». Этим нужно было заняться

немедленно — я решила не спускать глаз с романа, пока не обзаведусь достаточным количеством копий, чтобы послать издателю. За дело я принялась в то же воскресенье, едва успев вернуться к себе. По дороге домой, как мне помнится, я позвонила Солли.

— Рукопись снова у меня, — сообщила я. — Все гранки и машинописные экземпляры уничтожены. — И описала налет на Доттину квартиру.

Я поведала ему обо всем, как на духу. Он отнесся к моему рассказу очень серьезно, призвав пару-другую проклятий на головы Ревиссона Ланни, Дотти и сэра Квентина Оливера. Затем сказал, что уж нового-то издателя он мне как минимум добудет. Солли неизменно возлагал на «Уоррендера Ловита» большие надежды. Я же со своей стороны знала только одно — это моя, моя собственная, моя книга, и все равно считала «День поминовения», над которым начала работать, куда лучшим романом.

— Сообщи, когда подготовишь экземпляр для издательства, — сказал Солли.

Поэтому я продолжала печатать «Уоррендера Ловита». Текста я почти не правила, так что все сводилось к чисто механической работе. Я еще раз остановилась — позвонить на Халлам-стрит

— справиться об Эдвине.

— У нее сегодня тяжелый день, — ответила миссис Тимс. — А сейчас я бегу, до свидания. — И повесила трубку.

Я выпила виски с содовой, съела яйцо-пашот и вернулась к своим трудам. В полночь я все еще печатала. Время от времени мне приходилось мыть руки — их постоянно грязнила копирка, поскольку я заложила три экземпляра. Где-то в районе двенадцати Дотти запела под окнами «За счастье прежних дней». Ее голос показался мне непривычно высоким.

Меня обуяло большое искушение вылить ей на голову кувшин воды, но желание поговорить с ней пересилило. Мне хотелось узнать, как она провела день с Эдвиной. Хотелось узнать про интрижку с Ревиссоном Ланни и что она может сказать о своей новой службе у сэра Квентина. Ко всему еще мне не терпелось выяснить, обнаружила ли она, что я вернула моего «Уоррендера Ловита».

Я ее впустила.

— Я вчера приходила, — заявила она, — но тебя не было.

В ее голосе прозвучал упрек, и это меня рассмешило.

— Не вижу тут ничего смешного, — заметила Дотти, снимая пальто и усаживаясь в мое плетеное кресло. Рукопись «Уоррендера Ловита» лежала на виду на письменном столе, а отпечатанные страницы, текстом вниз, образовывали стопку по другую сторону машинки. Я не собиралась прятать от нее рукопись, но в ту минуту она ее просто не заметила.

— Ну и задала же мне жару эта мерзкая старуха, — пожаловалась Дотти.

— Что ж, придется тебе к этому привыкать, — сказала я. — В каком-то смысле Эдвина тоже часть твоих служебных обязанностей.

Я видела, что Дотти возбуждена и встревожена. Ее била дрожь. Мне даже стало ее немножечко жалко.

— Я не об обязанностях пришла разговаривать, — ответила Дотти. — Я еще вчера вечером приходила. Приходила сказать, что сэр Квентин требует вернуть биографии. Мне предстоит с ними работать. Отдай мне их, будь добра.

— И ты явилась сюда среди ночи, чтобы их получить? Ты что, не видишь, что я занята?

— Налей мне выпить, — попросила Дотти. — Я пришла попросить писчей бумаги. У меня кончилась, а я перепечатываю роман Лесли. Готова

поклясться, что была непочатая стопа, но найти не могу. Должно быть, оставила в магазине. А с перепечаткой нельзя тянуть — Лесли завтра вечером возвращается из Ирландии. Он собирался пробыть там три недели, но ты же его знаешь. Завтра мне будет недосуг покупать бумагу — я с утра приступаю к работе. Да, книгу Лесли, вероятно, будут печатать «Парк и Ревиссон Ланни».

Я дала ей виски с водой и сказала:

— Ты уверена, что тебе следует пить? Ты не заболела?

Она не ответила — ее взгляд был прикован к «Уоррендеру Ловиту».

— Что это? — спросила Дотти.

— Распечатываю свой роман: от старых экземпляров ничего не осталось.

— Какой роман?

— Да все тот же — «Уоррендер Ловит».

— Откуда он у тебя? — спросила Дотти.

— Дотти, — сказала я, — не сходи с ума. Как то есть — откуда у меня мой роман?

— Ты сколько сделала рукописных копий?

— Умоляю, — сказала я, — не будь занудой. Лучше расскажи о своих делишках с Ревиссоном Ланни.

Она поставила стакан на пол, расплескав вис-

ки.

— Ты не понимаешь, — сказала она, — чем порой приходится жертвовать женщине ради мужчины. Ты жестокая. Злая. Сходила бы ты к священнику.

Что ж, сходить к священнику — хорошее дело, когда на душе грех. Но в жизни писателя очень редко бывают такие положения, о которых хоть с какой-то пользой можно поведать священнику. К священнику обращаешься, когда страшишься за собственную бессмертную душу, а не тогда, когда тебе угрожают чужие грехи. Я заявила Дотти:

— Мне идти к священнику из-за тебя или, к примеру, из-за сэра Квентина, — то же самое, что обращаться к врачу по поводу твоих легких или его почек. Тебе бы самой сходить к священнику.

— И схожу, когда все это кончится, — ответила Дотти. — Лесли нужен издатель.

Ее здорово трясло.

— К врачу бы тебе сходить, — сказала я.

Она выплеснула остатки виски на мои отпечатанные страницы. Я промокнула их тряпкой, как смогла, и сказала:

— Это сэр Квентин присоветовал тебе спутаться со стариком, правда?

— Сэр Квентин, — возразила она, — гений и

прирожденный вождь. А теперь отдай биографии, и я пойду.

— Ты-то пойдешь, — сказала я, — но биографии останутся, пока я не выберу времени основательно их изучить. Мой «Уоррендер Ловит» перекочевал в эти биографии целыми кусками. Сперва я извлеку из них то, что мое, а уж потом верну остальное.

— Ну и стерва же ты, — заявила Дотти.

Тут меня что-то подтолкнуло спросить:

— Ты принимаешь пилюли?

— Какие пилюли? — переспросила Дотти.

— Наркотические.

— Только чтобы согнать вес, — ответила Дотти.

— По назначению врача?

— Нет, знакомые снабжают.

Я аккуратно сложила полстопы писчей бумаги и отдала Дотти. И сказала ей, что она дура.

— Ты бесишься, потому что я заняла твое место, — ответила она.

Я сказала, что это только справедливо, все, что она сделала, только справедливо, потому что я в свое время заняла у нее мужа. Но она дура, если не развяжется с «Обществом автобиографов».

— А кто первый меня к ним привел? — спро-

сила Дотти.

— Я, и очень об этом жалею. Но я порвала твою биографию, как только поняла, что дело нечисто.

— Мне нравится спать с Ревиссоном Ланни, — сообщила Дотти.

— Уходи, мне еще много нужно сделать. Время позднее.

— У тебя не найдется чашки какао?

Я приготовила ей какао. Я отдала ей вышитый футляр для носовых платков, который не пришлось оставлять у нее в квартире.

— Ну почему тебя так и тянет в писательницы? — спросила Английская Роза. — Мы же прекрасно ладили, и Лесли тоже был твоим другом. Но из-за этого твоего бредового романа — сэр Квентин утверждает…

— Вон! — сказала я шепотом, чтобы не будить весь дом. На этот раз она ушла.

11

Дотти очень скоро обнаружила, что рукопись «Уоррендера Ловита», которую она видела у меня в эту ночь, и рукопись, что она у меня украла, одна и та же; в сумке под вязанием она нашла стопу писчей бумаги. Дотти позвонила, на другой день ближе к вечеру.

— Как ты проникла ко мне в квартиру? — спросила она.

Я уже вернула ключи Сержу Леммингу. На ее вопрос я отвечать не стала, я даже не спросила, каким образом мой роман очутился в ее квартире. Я просто повесила трубку.

Через час она снова позвонила.

— Послушай, Флёр, сэр Квентин очень хочет с тобой побеседовать.

— Откуда ты говоришь?

— Из дома. Боюсь, мне оказалось не под силу справляться со службой.

— Ты вышла из доверия у сэра Квентина.

— Ну, не совсем так, но…

— Он взбешен, что ты не уничтожила моей рукописи.

— Ну, рукопись того заслуживала.

В этот вечер я завершила перепечатку «Уоррендера Ловита». Я просидела, не разгибаясь, весь день; у меня ломило плечи, когда я лежа вычитывала опечатки. От меня не укрылись его недостатки как романа, но устранить их можно было, только устранив само существо произведения. С романами и рассказами такое не редкость. Замечаешь ошибку или недочет, допустим, в портрете какого-нибудь персонажа, но косметикой тут не поможешь; если же менять обстановку места действия, то это нарушит гармонию всего художественного целого. Так что я ничего не стала менять в «Уоррендере Ловите».

По дороге на свою ночную смену ко мне зашел Солли — пропустил рюмочку и забрал два машинописных экземпляра книги: один для издателя, а другой — чтобы запереть в сейф на службе. Он сказал:

— Ты на всех их могла бы подать в суд, даже потребовать предварительного заключения.

— А это пойдет на пользу книге? — сказала я.

— Нет, — ответил Солли, — вокруг нее всего лишь раздуют шумиху. Твой роман должен опираться на собственные достоинства, тем более что он у тебя первый.

— Как быть с биографиями?

— Уничтожь куски, что он позаимствовал из книги, и верни все остальное.

Я сказала Солли, что так и собираюсь поступить. Но сперва мне любопытно посмотреть, как сэр Квентин использовал мою работу.

— Мне сдается, он нашел «Уоррендеру Ловиту» практическое применение — пытается воплотить мой сюжет в жизнь. У меня не было времени как следует изучить досье, но впечатление именно такое.

— Ты не можешь отвечать за его действия, — сказал Солли. — Не давай им портить тебе нервы. Верни то, что его, и пусть себе упрячет полученное на семьдесят лет. Нам-то что за дело! Ты найдешь новое место, напишешь новый роман и всех их забудешь.

Когда в тот же вечер, но несколько позже, я выволокла сумку с досье «Общества автобиографов» и открыла ее, я почувствовала, что близка к истерике. Эти папки, казалось, даже на ощупь излучают незримое зло. Перебирая их, я наткнулась на досье леди Бернис Гилберт.

Тут зазвонил телефон. Что за инстинкт подсказал мне не отвечать? Было всего двадцать пять минут девятого. Телефон продолжал настырно

дребезжать. Должно быть, привратник знал, что я у себя, и, видимо, решил, что я пошла в туалет и вернусь через минуту-другую. Пронзительные однотонные вызовы с домашнего коммутатора из подвала следовали без перерыва. Я сняла трубку, услышала голос привратника: «Ответили, соединяю», щелчок переключения и:

— Ох, Флёр, — произнесла миссис Тимс, — как я рада, что застала вас. У нас беда. Это связано с леди Эдвиной, она хочет вас видеть.

— Она заболела?

— Я бы не сказала, что она хорошо себя чувствует. Это деликатный вопрос. Не могли бы вы приехать немедленно? Сэр Квентин, разумеется, оплатит такси.

— Соедините меня с леди Эдвиной, — сказала я.

— Никак не могу.

— Почему?

— Она не в состоянии говорить.

Тогда я попросила позвать к телефону мисс Фишер.

— Сиделка Фишер поехала к сестре.

— Врача вызывали?

— Понимаете, — начала Берил Тимс, — мы как раз обсуждали…

— Не нужно ничего обсуждать. Пошлите за врачом, — сказала я.

— Но ей нужны вы, Флёр.

— Дайте трубку сэру Квентину.

— Сомневаюсь, чтобы он захотел говорить с вами, Флёр. Сэр Квентин очень обижен.

— Ему предстоит еще заплатить мне жалованье и многое объяснить, — сказала я.

Наступила пауза — Английская Роза, очевидно, накрыла трубку ладонью, чтобы посоветоваться с сэром Квентином, потому что в конце концов он сам подошел к телефону.

— Я был бы вам премного обязан, — сказал он, — если б вы приехали повидать матушку. Это крайне необходимо. Какие бы неприятности ни произошли между нами, уверяю вас, мисс Тэлбот, я не хочу вмешиваться в ваши с матушкой отношения.

— Я хочу с нею поговорить.

— Увы, это невозможно.

Кончилось тем, что я поехала, но сперва запихнула автобиографии обратно в платяной шкаф, а шкаф заперла на ключ. Читавшие «Уоррендера Ловита» знают, что́ постигло эти автобиографии в мое отсутствие. Где-то в глубине сознания у меня и вправду промелькнуло, а не попадусь ли

я на ту самую удочку, что и Марджери из романа, которую сманили от бумаг Уоррендера под тем предлогом, что она понадобилась старухе Пруденс. Но самый факт, что промелькнуло это где-то в глубине, почти полностью исключал возможность ясно понять всю обоснованность моих догадок. Мне казалось совершенно неправдоподобным, чтобы мой же роман мог до такой степени вклиниться в мою жизнь. Я часто ошибаюсь, отвергая возникающие у меня подозрения как неразумные.

Через полчаса я была на Халлам-стрит.

— Мисс Тэлбот, — произнес сэр Квентин, — не зайдете ли на минутку ко мне в кабинет? К счастью, к нашему огромному счастью, матушка погрузилась в сон. Было бы чрезвычайно обидно беспокоить ее после всего, что случилось, всего, что случилось…

— Ну значит, все в порядке, и в моем присутствии нет необходимости, — сказала я.

Но сэр Квентин крепко держал меня за руку и теснил к кабинету.

— Снимите пальто, прошу вас, мисс Тэлбот, — говорил он. — Нам нужно обсудить с вами несколько мелочей.

— Если вы имеете в виду досье вашего «Обще-

ства», — сказала я, — то я сначала познакомлюсь с ними получше, а потом буду обсуждать. Насколько я успела понять, вы осуществили плагиат моего романа «Уоррендер Ловит». Можете не сомневаться, что я подам на вас в суд.

— Ваш роман, ваш роман, ничего я о вашем романе не знаю. Понятно, почему вы не смогли уделять все внимание своим обязанностям, работая у нас, — вы же все это время пописывали романы. Бред величия.

Из другой половины дома донеслись грохот и пронзительный крик:

— Флёр! Флёр, это вы? Отстаньте от меня, Тимс, сука паршивая! Я хочу видеть Флёр. Я знаю, она здесь. Я знаю, что Флёр в доме.

Сэр Квентин продолжал:

— Это я подам на вас в суд.

Я оставалась на месте, словно согласившись не обращать внимания на поднятый Эдвиной тарарам.

— Возникает вопрос, — сказала я, — почему Бернис Гилберт лишила себя жизни.

— Это я…

Но я вскочила и выбежала в коридор, где Эдвина пыталась высвободиться из хватки Берил Тимс.

— Флёр, как я рада вас видеть, вот уж приятная

неожиданность, — прокаркала Эдвина. — Пойдемте ко мне.

Я отпихнула Берил Тимс и прошла за Эдвиной. С другого конца коридора донесся слабый крик сэра Квентина:

— Матушка!

Прежде чем уйти в тот вечер с Халлам-стрит, я получила расчет и трудовые документы. Еще я получила конверт от Эдвины — она украдкой извлекла его из наволочки и впихнула в карман моего пальто, сопровождая все это пронзительными взвизгами, так что Берил Тимс, которая пошла в ванную за водой для снотворного, не заподозрила об этой передаче.

Я пообещала Эдвине зайти проведать ее в ближайшем будущем. Вечно подворачивалась очередная причина, по какой я не могла разделаться с Халлам-стрит раз и навсегда. Это напоминало мне эпизоды в «Уоррендере Ловите», когда выдуманный мною филолог Прауди все время натыкается на письма от Марджери к Уоррендеру с объяснениями, почему она не может приехать к нему за город, тогда как вполне очевидно, что она не переставала ездить вплоть до гибели Уоррендера в автокатастрофе. На вопрос Прауди, зачем она снова и снова возвращалась в этот

дом, Марджери отвечает: «Я хотела положить этому конец. Но кто бы тогда помог гречанке? И Пруденс, мне нужно было видеться с Пруденс».

Обо всем этом я подумала, усаживаясь в такси, чтобы ехать домой. Я вспомнила завязку романа — люди собрались, ждут Уоррендера — он должен к ним присоединиться. Уоррендер опаздывает. Вообще не приезжает. Он погиб в автомобильной катастрофе.

Вот какой был ход моих мыслей: Уоррендер Ловит погиб в автокатастрофе, когда все в сборе и ждут только его. Судьба Квентина Оливера, если он захочет сыграть Уоррендера Ловита, будет такой же. Эта мысль напугала меня, но в то же время прошла стороной, словно я смотрела чужую пьесу и не в моих силах было остановить спектакль. И тут мне, прямо в такси, снова подумалось, до чего чудесно быть женщиной и писательницей в двадцатом веке. Как будто сэра Квентина, можно сказать, и не было на самом деле, и я его просто выдумала, а Уоррендер Ловит — живой человек, по-настоящему живой, и с него-то я отчасти и списала сэра Квентина. Нервы у меня, правда, были напряжены до предела, но свои тогдашние ощущения я помню очень отчетливо.

В том, что сэр Квентин существует на самом

деле, я убедилась, вернувшись к себе. Правда, я не заметила ничего подозрительного, вытащила из сумочки ключ от шкафа и открыла его. Соллина дорожная сумка стояла на своем месте. Я раскрыла ее и уставилась в пустоту, завороженная исполнением моих предчувствий и размерами собственной глупости, не давшей мне внять голосу интуиции. Сумка издевательски ощерилась на меня зияющей пастью. Здесь поработал профессионал. Ни малейших следов, что кто-то приложил руку к дверному замку, никаких царапин на дверце шкафа, изобличающих неумелую руку дилетанта. Утром привратник подтвердил, что, насколько ему известно, меня никто не спрашивал. А что, в доме вообще не было никого постороннего? От возмущения он начал метать громы и молнии, и в их свете передо мною предстал неоспоримый факт, о котором я уже и сама догадалась: чтобы проникнуть в дом и безошибочно добраться туда, где я держала биографии, был нанят профессиональный взломщик. Дотти знала расположение комнат и обстановку и, конечно, сама, возможно, о том не подозревая, выболтала все, что нужно. Я немедленно полезла за «Уоррендером Ловитом» под кровать, где теперь хранила рукопись в чемодане. От волнения

я забыла, что перед уходом из дому извлекла ее и сунула к себе под подушку. Таким образом, в чемодане я обнаружила только один свежий машинописный экземпляр книги — два других забрал Солли. Но где же, где моя рукопись форматом 13x16 дюймов? Я битый час искала по всей комнате и, только ложась спать, почувствовала ее под подушкой.

Это напомнило мне о конверте, который Эдвина сунула в карман моего пальто. Я взвилась из-под одеяла — настолько это волнующее воспоминание взбодрило и придало мне сил. Я из той породы людей, кто быстро оправляется от физического изнеможения при малейшем умственном возбуждении. В скомканном, ненадписанном конверте я нашла несколько страничек, написанных от руки и, судя по всему, вырванных из чьего-то дневника. Вырвали их грубо — у многих слов, с которых начинались строки, не хватало первых букв, у слов же на обороте страничек — соответственно последних. Мне показалось, что почерк — сэра Квентина, а прочитав первую страницу, я поняла, что выдирки — из его дневника.

Вот они — я сберегаю их с того самого дня в память о моей удивительной Эдвине.

26 апреля 1950 г.
Я завоевал доверие
комой мисс Тэлбот — Дороти
«Дотти»), миссис Карпентер, с чьим
мужем, Лесли, мисс Тэлбот
остояла в связи.
«Дотти» раздобыла для
ня гранки романа под
званием «Уоррендер Ловит» — как
разчик патологического литерат.
чинения, каковое по ее («Дотти»)
нию следует изъять из печати.
Я прочитал сей продукт
оспаленного и пустого воображе-
я мисс Тэлбот. Только подумать,
она просочилась в мой круг!!
Ее книга — попытка roman
a clef[19], это яснее ясного!
Вопрос: она читает чужие мысли?
а медиум?
? Зло

Я перевернула страничку:

---

[19] Примечания: 19

«Роман с ключом» *(франц.)*: роман, требующий расшифровки образов и ситуаций, заимствованных из реальной жизни.

28 апреля 1950 г.
«Дотти» мне сообщила, что д
литераторов, Теодор Клермонт
его жена Одри (NB. не значат
в «Кто есть кто») прочли этот так
наз. роман и решительно та
вой осудили. Мне также сообщи
что указанное сочинение уж
готово к печати и будет в
щено в свет фирмой «Парк
Ревиссон Ланни», небольшим,
солидным издательством.
В результате договорился
rendez-vous[20] с директором ф
мы самим м-ром Ревиссоном Лан
(NB. Отсутствует в «Кни
пэров Бёрка», у Хэйдена и т. д.
и т. п. Невыразительная заметка
в «Кто есть кто».)

Следующая страница:

1 мая 1950 г.
Во время посещения издатель-
ва «Парк и Ревиссон Ланни» встре-

---

[20] Примечания: 20
Свидание, встреча *(франц.)*.

ся сегодня с самим мистером
виссоном Ланни у него в кабине-
объяснил ему всю серьезность
еветнической стороны так наз.
мана мисс Флёр Тэлбот vis-a-vis[21]
ему «Обществу автобиографов».
Он незамедлительно согласил-
ся изъять роман. (Угроза обви-
ть в клевете неизменно оказы-
ет на таких людей требуемое воз-
действие.) На мой взгляд, мистер
нни — надежный бизнесмен, но его
роисхождение не заслуживает вни-
ания.
Он упомянул, что «Дотти» пока-
зала ему несколько глав из рома-
, что пишет ее муж, — настоящий
tour de force[22], где говорится о его
былых отношениях с молодой често-
люби-
женщиной: те, кто «в курсе», уз-
ют в этом описание его связи с во-
тительной Флёр Тэлбот!!

---

[21] Примечания: 21
По отношению к... *(франц.)*

[22] Примечания: 22
Проявление силы, умения *(франц.)*.

1 мая (продолж.)

Он заметил, что «Дотти» — «весьма хорошенькая». Он такж заметил, что говорит мне это «как мужчина мужчине», что бы мною оценено. Я ответил, что постар сделать все возможное, чтобы угл бить его интерес к «Дотти», и м рассмеялись без задних мыслей. Я разил благодарность за его любезн сотрудничество и заверил, что может на меня рассчитывать.

На прощанье мистер Ланни предло «подтвердить письмом» свое решен расторгнуть заключенный договор на дание упомянутого «Уоррендера Ловит»

Я попросил его не фиксировать н tete-a-tete[23], заверив, что для ме любой письменный документ не бол чем материал, которому пред стоит семьдесят лет пролежать по замком. Я проинформировал его об этом в соответствии со своим при

---

[23] Примечания: 23

Беседа с глазу на глаз *(франц.)*.

ципом полной откровенности.

2 мая 1950 г.
Приятные ощущения: прогуливаясь
годня рано утром в Парке, я заме-
ил в кустарнике полосатую кошку,
торая дивно вписывалась в бледный
тренний свет и тени от мокрой лист-
ы. Как органична природа! Я был
арован, заключен в магический круг,
зволен, восприимчив, несведущ.
В эту минуту подумал: как сладост-
но умереть. Мое сокровище, о, если бы
мы
смогли умереть вместе. Когда б не мое
Призвание, которое мне, и только мне,
толь таинственно предначертано испо-
ить. Но кто твои друзья? И где же
ни?
Не отступайтесь от задуманного. Я
т. д. и т. п.
Это письмо — «Гвардейцу»?
Да, я это сделал. Я его отправил!!
Но…

Эта последняя запись от второго мая разозлила меня больше всех остальных выдержек из днев-

ника Квентина Оливера. Она была дословным повторением отрывка из «Уоррендера Ловита», где, по моей воле, выдуманный мною Прауди обнаруживает это нелепое письмо, отправленное гречанке, которая нашла его совсем не нелепым.

Когда злость, вызванная столь бандитским налетом на моего «Уоррендера Ловита», поутихла, я вложила странички дневника в тот же конверт, а конверт упрятала на самое дно сумочки, решив никогда с ним не расставаться. Как бы ни пришлось мне потом использовать содержание этих отрывков, я почувствовала облегчение, твердо убедившись в том, о чем смутно подозревала. К тому же меня очень забавляла мысль, как сэр Квентин обнаружит в своем дневнике недостающие страницы. Я была уверена, что он решит, будто я наняла профессионального взломщика. От души над этим посмеявшись, я, столь счастливая, погрузилась в сон.

На другое утро у меня состоялось собеседование на Би-Би-Си относительно места, которого я не получила. Меня усадили за длинный стол в комнате правления, и масса людей принялись задавать мне массу вопросов. Но у меня не оказалось необходимого опыта, и, как сформулировал самый старый из присутствовавших на собесе-

довании мужчин, я вряд ли отдавала себе отчет в том, что запрошенные мною шесть фунтов в неделю соответствовали тремстам фунтам в год. Я сказала, что, по моим подсчетам, это соответствует тремстам двенадцати фунтам. Как бы то ни было, меня не приняли на работу. Конечно, я тогда выглядела не лучшим образом. Несколько лет спустя, когда моя судьба переменилась и я писала для Би-Би-Си, мои новые друзья из постановочного отдела наткнулись на папку с делами, где это собеседование было должным образом зафиксировано, и оно всех нас развеселило.

Я перепечатала странички из дневника сэра Квентина и около пяти вечера отправилась с ними на Халлам-стрит.

Он, несомненно, был сумасшедшим. Именно это, я уверена, и хотела сообщить мне Эдвина, отдавая вырванные листки.

— Леди Эдвина почивает, — сказала Берил Тимс. — Но можете больше не утруждать себя визитами, вам от них никакого проку не выйдет. Мы тут кое-что выяснили — знаете что? Мы обнаружили, что у нее совсем нету денег, ей нечего никому завещать. Она купила себе ренту и, когда умрет, денежки умрут вместе с ней. Она такая хитрюга, право слово. Сэр Квентин только что это

выяснил. Ее состояние — одни сказки.

Я давно уже знала об этом; однажды в воскресенье, когда мы с Солли катили ее в кресле, она мне сообщила:

— Я вышла замуж из-за денег.

— Считаю, Эдвина, что с вашей стороны это было очень безнравственно, — сказал Солли.

— Не понимаю почему. Муж тоже женился на мне из-за денег. Мы были нежной супружеской парой. У нас было кое-что общее: во-первых, вкус к дорогим вещам, во-вторых, отсутствие денег.

Затем она между делом сболтнула, что Квентин «для всех оказался неожиданностью» и что «его отец, настоящий понятно», обеспечил сына и немного — Эдвину. Так что у нас имелись кое-какие представления о родословной Квентина. Эдвину мы ни о чем не расспрашивали, чтобы не испортить объяснениями очаровательную недосказанность этой истории.

— Ни пенса, — продолжала Английская Роза, — помимо ренты, которой ей едва хватает на содержание и на сиделку.

Именно в эту минуту из кухни появилась мисс Фишер:

— Здравствуйте, Флёр. Леди Эдвина вам очень обрадуется. Она сейчас встает к чаю.

Я сказала, что приду, как только поговорю с сэром Квентином.

Мисс Тимс заявила:

— Вам нужен сэр Квентин? Знаете…

Я открыла дверь в кабинет — он сидел за письменным столом, уставясь в пространство.

— Где же ваша новая секретарша? — сказала я.

— А, мисс Тэлбот. Я… Ей пришлось рано уйти домой.

Он жестом указал мне на стул. Я не стала садиться.

— Прочтите, — сказала я, положив перед ним перепечатанные странички из дневника.

Он взглянул на верхний листок и спросил:

— Откуда это у вас?

— Из вашего дневника. Страницы у меня.

— Как вы добрались до моего дневника?

— С профессиональной помощью. Оригиналы заперты в банковском сейфе. Может быть, на семьдесят лет, а может, и нет.

Он встал и принялся расхаживать по комнате, что-то там приводя в порядок. Остановился и посмотрел на другие перепечатанные странички. Рассмеялся:

— Ну, этот дневник не более чем шутка. В нем нет ничего серьезного.

Я сказала:

— Вам придется обратиться к психиатру. Это во-первых. Во-вторых, вы должны распустить «Общество автобиографов». Если до конца месяца вы не сделаете того и другого, будет скандал.

— Ну, по этому вопросу нужно послушать, что скажут сами члены «Общества».

Я оставила его в кабинете и пошла в гостиную к Эдвине — она сидела, обложенная подушками и закутанная в индийскую шаль, дожидаясь чая. Вошел сэр Квентин, держа в руках книжку в кожаном переплете — его дневник. Берил Тимс следовала за ним.

— Матушка, — произнес он, — я хочу, чтобы вы знали: ваша приятельница мисс Флёр Тэлбот — не наша приятельница. Она принадлежит к преступному миру. Она наняла вора-профессионала, чтобы он проник в этот дом и извлек несколько страниц из моего личного дневника. Она сама призналась. Мисс Фишер, у вас ничего не пропало? Целы ли драгоценности леди Эдвины?

Эдвина встала и налила на пол.

— Мисс Тэлбот, я вынужден попросить вас из этого дома.

— Попросить — отчего же не попросить, — сказала Эдвина. — Только за дом плачу я. А твой дом,

Квентин, за городом.

Мисс Фишер стала подтирать пол вокруг Эдвины, и та наконец согласилась, чтобы ее отвели в спальню, помыли и переодели. Я осталась дожидаться в гостиной и взяла бутерброд. Сэр Квентин тем временем молча мерил меня взглядом, а Берил Тимс передвинула блюдо с бутербродами, чтобы я не смогла до них дотянуться.

В дверь позвонили, Берил Тимс пошла открывать.

— Вы демон, — сказал сэр Квентин. — Ваше восхищение Джоном Генри Ньюменом — сплошное лицемерие. Разве он не использовал своего влияния, чтобы собрать вокруг себя кружок преданных духовных последователей? Разве я не имею права поступить так же?

— Но вы же знаете, что спятили, — сказала я. — Желание властвовать над другими родилось у вас еще до того, как появилась я и напомнила вам о существовании Ньюмена. Вы прочитали мой роман, но совсем недавно. Вы должны обратиться к психиатру и ликвидировать «Общество».

Из прихожей донеслись голоса. Я пошла попрощаться с Эдвиной и, проходя мимо, увидела, что это прибыли баронесса Клотильда и отец Дилени, чудовищно похудевшие, но отнюдь не жалкие.

Эта парочка всегда отличалась самонадеянностью и высокомерной глупостью.

В комнате у Эдвины, где сиделка копалась в гардеробе, подыскивая очередное чудесное платье, я сказала:

— Я велела ему сходить к врачу по психам и разогнать свою труппу.

— И правильно сделали, — согласилась Эдвина. — Когда я познакомлюсь с вашим другом Уолли?

— На днях я это устрою.

— Уолли и Солли, — прохихикала она с удовольствием. — Вам не кажется, нянечка, что эти имена составляют славную пару?

— Очень славную. Как в цирке. — Затем мисс Фишер обратилась ко мне: — Меня беспокоит «Декседрин».

Я не совсем поняла, о чем идет речь, и решила, что она имеет в виду лекарство для Эдвины.

— Хотите, — сказала я, — я возьму рецепт и…

— Нет, нет. Это «Декседрин», который сэр Квентин дает своим друзьям. Разве вам он его не давал?

— Мне — нет.

— А другим дает. В больших дозах препарат может быть опасен.

— Они все совершеннолетние. Мне их не жалко.

Уж они-то, конечно, могут сами о себе позаботиться.

— И да, и нет, — сказала сиделка, добрая душа.

Эдвине не терпелось надеть свое фиолетовое платье.

— Они все постятся. Кроме него самого и Тимс. И мы тоже любим покушать, верно, нянечка?

— «Декседрин», — объяснила сиделка, — подавляет аппетит, но сказывается на мозге.

— Фигуру себе сохраняют, — взвизгнула Эдвина. — Они рехнутся.

— У каждого из них, вероятно, есть знакомые, — сказала я. — Предполагаю, у них есть и знакомые, и родственники, которые заметят, если они заболеют.

— Все еще в самый раз, — сказала Эдвина, оглаживая платье.

— Доказать тут ничего не докажешь, — сказала мисс Фишер, — но я-то знаю. Эти несчастные…

— Они не младенцы, — сказала я.

Я думала о моем романе «Уоррендер Ловит»; теперь по милости Квентина Оливера я лишилась издателя. Мне обрыдло его сборище кретинов, потакающих собственным слабостям; я подумала о Мэйзи Янг, у которой столько возможностей в жизни, а она готова от них отказаться ради

безумного духовного наставника; и о баронессе Клотильде дю Луаре, до того помешанной на привилегиях, что она не в состоянии распознать и отвергнуть маньяка.

Я вернулась домой и приоделась к свиданию с Уолли — мы собирались пойти куда-нибудь пообедать. Но про Халлам-стрит я ему ни словом не обмолвилась. Вместо этого я рассказала о Би-Би-Си, а он в свою очередь, не помню уже, в какой связи, поведал мне о демобилизации, как они с приятелем отправились в армейский центр, представлявший собой кучу бараков, выбирать себе штатскую одежду. Уолли подробно описал ассортимент и покрой имевшихся там костюмов. Он выбрал пиджак из твида и фланелевые брюки.

— Вполне приемлемо, — заметил Уолли в своей небрежной уравновешенной манере.

Было приятно сознавать, что в жизни есть кое-что помимо «Уоррендера Ловита» и «Общества автобиографов». Однако в действительности мои мысли отчасти витали в другом месте. Я рвалась домой к книге Ньюмена. Мне хотелось понять, что такого они способны в нем для себя находить. Меня интересовало отношение к Ньюмену всей этой компании.

Но Уолли зашел ко мне выпить на сон грядущий. Ему нравилась моя забитая книгами комната.

— На улице какая-то пьянчужка распевает «За счастье прежних дней», — заметил он. — Ей, похоже, очень весело, а?

Я предоставила ей петь в свое удовольствие.

Я еще не успела встать, как поутру заявилась Дотти. У нее достало наглости прихватить свою черную сумку с вязаньем — на сей раз это был темно-зеленый свитер.

— Я приходила вчера вечером. У тебя горел свет.

— Знаю.

— Ты была с Лесли?

— Пошла к черту!

— Послушай, — сказала Дотти, — что я тебе сообщу. Сэр Квентин всем велел отправляться в его дом в Нортумберленде. Он говорит, что здесь, в Лондоне, нам угрожают гонения и он намерен превратить свой дом в нечто вроде обители.

— Как Ньюмен в Литтлмуре?

— Именно. Придется тебе признать, что сэр Квентин стремится к чему-то стоящему.

Я не могла усмотреть ни малейшего сходства между Ньюменом и его группой оксфордских

англокатоликов, ведущими аскетическую жизнь в своем литтлмурском убежище, и сэром Квентином с его сборищем психопатов. Ньюмен действительно подвергался настоящим религиозным и политическим гонениям за свои взгляды; верно и то, что возникавшему у него ощущению преследования не всегда находилось объяснение. Никаких других точек сближения между Ньюменом и шарагой с Халлам-стрит не имелось. Я сказала Дотти:

— Можно подумать, что Квентин Оливер только и знает две книги — «Оправдание» Ньюмена да моего «Уоррендера Ловита». Он одержимый.

— Он считает тебя ведьмой, злым духом, ниспосланным, чтобы сообщить его жизни новые смыслы. Он призван обращать зло в добро. По-моему, в его словах глубокое содержание, — сказала Дотти.

— Во всяком случае, можешь поставить чайник, — сказала я, — я еще не завтракала.

Она налила чайник и поставила на газовую конфорку.

— Все поедут в Нортумберленд, кроме меня.

— Тебе, разумеется, придется остаться и осчастливить Ревиссона Ланни, — сказала я.

— Лесли был тут вчера вечером?

— Мое дело, — сказала я.

— Но мой муж, — возразила Дотти. — Мой собственный.

— Ну и сдавай его напрокат с почасовой оплатой.

— Жаль, что я не поеду в Нортумберленд, — сказала Дотти. — Сэр Квентин всех обзвонил в срочном порядке. Все едут. Мне звонила Мэйзи. Она едет. Отец Дилени…

— Давно я не слышала такой приятной новости, — сказала я. — А как с Эдвиной?

— Нет, ее не берут. Она останется в Лондоне с сиделкой. Заодно могу тебе сообщить, если ты еще не в курсе, что ей нечего завещать после своей смерти.

Не знаю, что подтолкнуло меня сказать это, но в ту минуту я подумала о своем персонаже, старухе Пруденс, которая унаследовала состояние Уоррендера:

— Она может пережить сына и унаследовать все его имущество.

— Ох, уж этот твой «Уоррендер Ловит», — заметила Дотти, заваривая чай.

— Ты принимаешь «Декседрин»? — сказала я.

— Нет, перестала. Врач запретил. Вообще-то я поэтому и не могу поехать в Нортумберленд. Сэр

Квентин меня не возьмет.

— А Берил Тимс едет с ними?

— Конечно. На церемониях она выступает в роли первосвященника. Они отбывают в эту самую минуту. Не знаю, что и делать.

— Забыть их, — сказала я.

— Это ты легко забываешь.

— Нет, не легко. Когда-нибудь я напишу обо всем этом.

Мне вспомнился Челлини:

> «Все люди всяческого рода… должны бы… своею собственною рукою описать свою жизнь…»

— Ты уже написала, — сказала Дотти, брякнув чашкой о блюдце. — Ты же знаешь, что твой «Уоррендер Ловит» — целиком про нас. Ты все это предвидела.

Когда она собрала вязанье и ушла, я открыла *восхитительное* «Оправдание» Ньюмена на нужной странице:

> «…и понял, как обязан поступить, хотя меня равно пугало и само деяние, и вытекающее из него разоблачение. Я должен, сказал я, представить в истинном свете

всю мою жизнь: я должен показать, каков я есть, чтобы можно было увидеть, кем я являюсь, и убить призрак, что бормочет моими устами. Хочу, чтобы меня знали как человека из плоти и крови, а не как пугало, обряженное в мои одежды…»

И положила книгу на стол рядом с моим Бенвенуто Челлини:

«Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своею собственною рукою описать свою жизнь…»

Заглядывая то в одну из них, то в другую, я восхищалась обеими. И думала, что в свое время, когда месяцы, разделяющие осень 1949 года и лето 1950-го, отойдут в далекое прошлое, а за плечами у меня будет нечто «похожее на доблесть», я предам все это печати. Известия, принесенные Дотти, привели меня в состояние пронзительной радости. Мне требовалась работа, а моему роману — издатель. Но с отбытием «Общества автобиографов» я почувствовала, что наконец-то от него избавилась. Хотя на самом деле я еще не отде-

лалась от сэра Квентина и его мелкотравчатой секты, но в нравственном смысле они уже находились вне меня, принадлежали объективной действительности. Когда-нибудь я о них напишу. Если же вдуматься, то в том или ином виде, нравилось это мне или нет, я с той поры и писала о них — тростнике, пошедшем на сырье для моих творческих заготовок.

12

Дата, которую я отмечаю как поворотный пункт в моей жизни, пришлась точно на середину двадцатого века — теплая, напоенная солнцем пятница, последний день июня 1950 года. Да, тот самый далекий день, когда я, прихватив бутерброды, пришла на старое закрытое кладбище в Кенсингтоне позавтракать и поработать над стихотворением, а молодой полисмен лениво подошел поглядеть, чем это я там занимаюсь. У него были четкие черты лица — как на памятниках жертвам войны. Я спросила: допустим, я нарушаю закон тем, что так вот сижу на надгробии, — в каком нарушении меня можно было бы обвинить?

— Пожалуй, в осквернении могилы и оскорблении усопших, — ответил он, — или в нарушении правил движения по дорожкам и создании неоправданных помех; можно было бы и в умышленной задержке в неположенном месте.

Я предложила ему бутерброд, но он отказался. Он только что пообедал.

— Могилы, верно, очень старые, — сказал

полисмен. Он пожелал мне удачи и пошел восвояси. Я забыла, что за стихотворение писала в тот день; скорее всего, это был опыт в одной из строгих форм — рондо, триолета или вилланели; примерно в это время я работала еще и с повествовательным александрийским стихом, так что его тоже нельзя исключать; я всегда находила упражнения в различных размерах и формах ради них самих делом весьма увлекательным, а часто — и неожиданно — стимулирующим. Я тянула время, чтобы избавить себя от надоедливых приставаний домовладельца, мистера Алекзандера, по поводу своей захламленной комнаты.

Снимать большую комнату мне было не по средствам, я едва-едва могла позволить себе платить за маленькую. Я подыскала не ахти какую, но все же работу — давала отзывы на рукописи и читала гранки для издателя из Уоппинга, время от времени рецензировала сборники стихов и рассказов. И успешно продвигалась со своим вторым романом, «Днем поминовения», уже задумав третий — «Английскую Розу». Попытки Солли пристроить «Уоррендера Ловита» по-прежнему ни к чему не вели, и, говоря по правде, я потеряла надежду на его опубликование; теперь все мои упования были связаны с «Днем поминовения».

Но от моих сбережений почти ничего не осталось, я понимала, что скоро придется нести свои книги к букинистам. Я отчаянно искала место с полной рабочей неделей.

Однако в тот день середины двадцатого века я особенно остро почувствовала, до чего прекрасно быть женщиной и писательницей в это время и в этом месте. Последние шесть недель я большей частью пребывала в угнетенном состоянии духа, но теперь это вдруг прошло, как бывает с депрессиями.

Суббота и воскресенье с Уолли у него в Марлоу по случаю отмены карточек на бензин двадцать седьмого мая оказались если и не полной катастрофой, то уж, безусловно, делом малоприятным.

Началось все прекрасно — перед самой поездкой я повела Уолли на Халлам-стрит позавтракать в обществе Эдвины. Сэр Квентин уже сбежал в Нортумберленд, оставив Эдвину с мисс Фишер и новой приходящей прислугой. Эдвина разоделась в нежно-голубое с отделкой из лебяжьего пуха, который изрядно полез за время нашего завтрака; тени у нее на веках повторяли ту же комбинацию цветов. Она, вероятно, готовила себя к завтраку не один час. Пальцы у нее были

сплошь в кольцах, на ногтях — ослепительной яркости лак.

— Вы возлюбленный Флёр? — проорала она Уолли.

— Да.

— Она для вас слишком хороша.

— Понимаю, — ответил Уолли со свойственным ему добродушием.

Мы сидели за маленьким резным столиком в эркере ее миниатюрной гостиной. Она была радостно оживлена, чувствуя себя в квартире полной хозяйкой, и обворожила Уолли историями про покойного Артура Бальфура[24]. Когда я ее спросила, не собирается ли Берил Тимс остаться в Нортумберленде, она сказала: «Какая такая Берил?»

Наша следующая встреча с Эдвиной произошла на неделе — я вкатила ее, одетую во все черное и с нитками жемчуга вокруг шеи, в церковь, где состоялась заупокойная служба по ее сыну Квентину.

На пути в Марлоу Уолли заявил, что просто очарован Эдвиной.

---

[24] Примечания: 24

Артур Джеймс Бальфур (1848–1930) — премьер-министр Великобритании в 1902–1905 гг.

— Я в твою Эдвину влюбился, — сказал он.

В Марлоу Уолли ждала неприятная неожиданность: женщина, что приходила убираться в доме, не появлялась там с последнего раза. Я заметила доказательства, что в тот раз он тоже приезжал не один, и это, думаю, расстроило его больше всего. На самом-то деле мне было все равно — сама по себе ситуация оказалась забавной, а любой непредвиденный поворот событий приводит меня в восторг. Но я не могла заставить себя не думать, кто была эта другая, и, примечая на полу зеленоватые, обгрызенные мышами корочки гренков, которые они тогда приготовили на завтрак, зеленое, с черным ободком по краю молоко в молочнике, а в раковине — пару кофейных блюдец и чашечек с запекшейся на донышке гущей, сухой и старой, я про себя высчитывала, когда это было: сколько недель тому назад, и как мы с Уолли встречались по будням с того времени. Пока Уолли стоял и ругался, я с непозволительным легкомыслием понесла свою дорожную сумку в спальню. Для одной пары простыни на постели выглядели слишком уж скомканными, и, словно по указанию опытного режиссера, верхняя часть синей хлопчатобумажной пижамы Уолли свисала со столбика кровати, тогда как штаны,

аккуратно сложенные, лежали себе на крышке комода. Бутылка с остатками виски и два стакана, один со следами губной помады, с постановочной точки зрения воспринимались как перегиб, но от них некуда было деться. Мы убрались в доме и вышли перекусить.

Ближе к вечеру я без всякой видимой причины вдруг разнервничалась по поводу почти забытого «Уоррендера Ловита». Мне подумалось, а не могла бы я написать начальную сцену поудачнее. Я столько раз перепечатывала и перечитывала роман, что знала его едва ли не наизусть.

— Послушай, Флёр, — сказал Уолли. — Когда я с тобой, иногда происходит очень странная вещь — ты вдруг куда-то *исчезаешь*. Мне даже не по себе делается. Хоть я ничего и не говорю, но у меня часто возникает такое чувство, будто ты где-то в другом месте.

Я рассмеялась, зная, что он прав.

— Вспомнила о своем первом романе, «Уоррендере Ловите», он мне жить не дает, — сказала я.

— А ты не поддавайся. У меня тоже хватает сюжетов, только вот времени нету.

— Ты считаешь, что смог бы написать роман?

— Ну, было бы время, а там уж, осмелюсь сказать, можно лепить романы не хуже любого

другого.

Он отправился проведать уборщицу, выяснить, что с ней случилось. Он успел справиться с замешательством первых минут в неприбранном доме, но для меня этот конец недели уже потерял всякий интерес. Может, мы оба ожидали от него слишком многого. Любовь непредсказуема по самой природе — это так же верно, как любая прописная истина. Я и в мыслях была теперь настолько далека от происходящего, что в отсутствие Уолли всего лишь отметила — во всяком случае, он мне по душе.

Мы привезли с собой немного съестного. Я принялась накрывать к ужину, зажгла две свечи, но была так погружена в свои мысли, что сейчас вспоминаю только общее впечатление от его домика, не помню даже, что мы ели на ужин. Там, кажется, был патефон, и я ставила какую-то пластинку.

В голове у меня непостижимым образом царил «Уоррендер Ловит», начальная его сцена, когда мать Уоррендера, Пруденс, племянник Роланд и гнусная экономка Шарлотта ждут приезда Уоррендера, собравшись в гостиной его загородного дома.

Роланд вертит в руках маску южноамери-

канских индейцев из коллекции Уоррендера. Шарлотта забирает у него маску: «Ваш дядюшка не любит, когда трогают его игрушки». Жена Роланда Марджери, только что вышедшая в холл ответить на телефонный звонок, бросается из дому, садится в машину и укатывает в неизвестном направлении. Пруденс все время повторяет: «Куда отправилась Марджери?» и «Роланд, узнай наконец, что случилось с Марджери. Можешь взять велосипед». Роланд разглагольствует о счетных машинках — он ими торгует, получая комиссионные. Шарлотта заявляет, что ее не интересуют машинки. Ну ладно, говорит она затем, пусть счетные машинки. Все, продолжает она, идет к тому, что в этом доме скоро нечего будет считать, поскольку Уоррендер, при своих многочисленных нахлебниках, вылетит в трубу. Пруденс замечает, что эти машинки умеют еще и вычитать. Она говорит, что Уоррендер стал произносить слова на новый манер. Все обсуждают его новую манеру произношения: «танцывать» вместо «танцевать», «любапытна», «харош» вместо «хорошо». Шарлотта встревает со своим замечанием: «Так говорит мистер Прауди». «От ученого можно было бы ожидать речи пограмотней, — отвечает Пруденс. — Из этого,

однако, можно понять, что Уоррендер и Прауди много общаются. Меня беспокоит Марджери — почему-то сорвалась с места и исчезла после этого телефонного звонка. Да и Уоррендеру пора бы уже приехать. Куда он подевался?»

Тут у меня Шарлотта подходит к окну: «Я слышу его машину». «Нет, я уверен, что это Марджери, — возражает Роланд. — У Уоррендера мотор стучит *тум*-та-та-тум, а у Марджери — как в этой машине: тум-тум-*тум*-та-та».

Пруденс произносит: «Роланд, сделай милость, оставь маску в покое. Уоррендер заплатил за нее бешеные деньги. Я знаю, что это подделка и Уоррендер — обманщик, но…» Входит Марджери. «Марджери, что с тобой?», «Господи, ей плохо, дайте ей выпить воды, неважно чего», «Марджери, что случилось? Это все из-за того звонка? Ты не пострадала?» Наконец, Марджери говорит: «Уоррендер пострадал. В автокатастрофе. Очень сильно. Звонили из полиции. Я была в больнице. Сперва не смогла даже его опознать. Лицо у него, лицо у Уоррендера…» Она проводит рукой по собственному лицу и продолжает: «У него, похоже, не осталось лица». Здесь Роланд выходит позвонить в больницу. Шарлотта: «Он умер?» Марджери: «Нет, боюсь, он все еще без сознания».

Тут Шарлотта, моя Английская Роза, цепляется к словечку «боюсь»: «Как это боитесь? Вы что, ему смерти хотите?»

Возвращается Роланд: «Он умер».

Подъехала машина Уолли, и он вошел улыбаясь:

— У миссис Ричардс была операция. Хорошо, что я к ней заглянул. Она не сможет работать еще пару недель. Так-то она — сама надежность, я знал, с ней что-то случилось. Впрочем, ничего серьезного, швов она мне не показала. Мужчины так всегда показывают.

Я сказала:

— Я говорила тебе, что «Общество автобиографов» перекочевало в Нортумберленд, в особняк к сэру Квентину?

— Да забудь ты про них, Флёр! Мерзкая была служба, и по тому, как ты говоришь, совсем не для тебя. У Эдвины с ними тоже ничего общего. Не повезло ей — вместо сына псих чокнутый. Но она такая старая, может, ей уже без разницы.

Тогда я решила изгнать «Уоррендера Ловита» из своих мыслей, для чего пустилась рассказывать Уолли о своем новом романе «День поминовения». По-моему, ему было достаточно интересно. Поужинав, мы пошли выпить в бар. Вернулись

вдоль берега речки и сразу — в постель. У нас попросту ничего не получилось. Я так старалась не уходить в себя и не «исчезать» от Уолли, что слишком сосредоточилась на происходящем. Я поняла, что слежу за каждым движением Уолли, я поймала себя на том, что *считаю*. В отчаянии я попробовала думать о генерале де Голле, но от этого все стало еще хуже, много, много хуже.

— Боюсь, я перебрал пива, — сказал бедняга Уолли.

Утром мы с часок провели на реке, затем, закусив, прибрали в домике и пораньше подались в Лондон. Уолли высадил меня у моего дома в самом начале шестого.

В полночь — снова Дотти. Надела халат и впустила.

— Сэр Квентин погиб в автокатастрофе. Столкнулись лоб в лоб вчера вечером, — сказала она.

— А в другой машине? Кто-нибудь пострадал?

— Тех тоже насмерть, — ответила Дотти с раздражением, означавшим, что в настоящую минуту ей приходится разговаривать с дебилкой, не способной отличить ядро от скорлупки.

— Сколько было в другой машине?

— По-моему, двое, но дело в том…

— Слава богу, он умер, — сказала я.

— Потому что это доказывает убедительность твоего «Уоррендера Ловита».

— При чем здесь «Уоррендер Ловит»! Это совсем другое дело. Он был зло в чистом виде.

— Они все были там и ждали его приезда, — сказала Дотти.

Я выставила Дотти.

Сюжет «Уоррендера Ловита» и вправду был убедительным. То, что я в нем описала, хотя и отличалось от действительности, но могло произойти. Мой «Уоррендер Ловит» был убедительным, и я решила, что его первая глава, которая не давала мне покоя в домике Уолли, вполне сойдет в ее существующем виде.

На другой день в десять утра я позвонила мисс Фишер на Халлам-стрит. По ее словам, Эдвина мужественно перенесла страшное известие. У нее был врач. Все в порядке, Эдвина ведет себя очень спокойно.

После похорон ко мне подошла Берил Тимс и сказала так, чтобы услышала Эдвина:

— Вам придется как-то договариваться с леди Эдвиной. Собственность сэра Квентина отходит к ней, а акта на имущество в мою пользу нет.

— Эдвина, — сказала я, — миссис Тимс пришла выразить свои соболезнования.

— Я заметила ее присутствие, — сказала Эдвина.

И я покатила ее восвояси — прямую, в ее блестящем черном платье. Меня потрясло, что Берил Тимс выразилась почти теми же словами, что моя Шарлотта на похоронах Уоррендера.

От похорон и до того дня в конце июня, когда я сидела на кладбище и писала стихотворение, Дотти, не скупясь, выкладывала мне все новости о членах распавшегося «Общества».

— Мы хотели бы знать, — сказала Дотти, — о судьбе биографий. Им так и не довелось их прочесть.

— Эдвина уничтожила биографии.

— А она имела право?

— Полагаю, имела.

— Не ты ей случаем подсказала?

— Нет, она просто сообщила мне, что велела мисс Фишер уничтожить бумаги. Ничего интересного, да и негде их было хранить.

— Бедная Берил Тимс. Он обещал распорядиться имуществом в ее пользу. Ты знаешь, что Эрик Финдли вернулся к жене?

— Я не знала, что он от нее уходил.

— Ну, Флёр, он же бросил ее ради тебя. Так в его биографии. Ты, Флёр, состояла с ним в связи.

Я своими глазами видела все это написанным черным по белому. Сэр Квентин мне показывал.

— Почерк был его?

— Нет, то есть, конечно, писал сэр Квентин, но с его слов. Под диктовку сэра Эрика.

— Так это ложь. Он все выдумал.

— Не исключено, — сказала Дотти, — что это и ложь. Хотя…

— Выметайся.

И далее в том же духе. Мэйзи Янг переболела нервным расстройством — за те несколько недель, что прошли между похоронами и моим памятным днем на кладбище. Клотильда дю Луаре отбыла во Францию и поселилась в каком-то монастыре — обрести свою, по ее мнению, утраченную душу. Дотти часто встречалась с отцом Дилени — он с радостью водил ее на состязания по борьбе и по-прежнему принимал «Декседрин». Миссис Уилкс возвратилась в семью, но каждый день ходила на могилу к сэру Квентину духовно с ним пообщаться. Я спросила у Дотти, ходит ли кто на могилу «Гвардейца»; Дотти ответила:

— Ну, знаешь ли, самоубийство — смертный грех. Напрасно ее похоронили как христианку.

Весь тот июнь я часто видалась с Эдвиной. И с Уолли тоже. Он хотел провести со мной в Марлоу

еще один конец недели, на этот раз повеселее, но по субботам и воскресеньям мне приходилось работать — писать рецензии и новый роман. Я знала, что скоро устроюсь на место с полной рабочей неделей.

Итак, я поговорила с полисменом на кенсингтонском кладбище, и наступила суббота, первое июля. В этот день для меня началась новая жизнь. Пришло письмо из великого и славного издательства «Триада», старой фирмы, специализирующейся на выпуске высококачественной литературы. Письмо было очень простое:

> «Уважаемая мисс Тэлбот!
>
> Мы были бы Вам признательны, если б Вы с нами связались и сообщили, в какой из ближайших дней Вы могли бы зайти в издательство.
>
> Искренне Ваша
>
> ***Цинтия Самервилл,***
> ***Издательство «Триада».***

В свое время Эдвина упоминала про Самервиллов из «Триады» — она была знакома с их двоюродным дедушкой. По ее мнению, я могла бы получить у них работу. Сразу же вспомнилось, что и Солли говорил:

— Ты могла бы устроиться в «Триаду».

Я решила, что кто-то из них порекомендовал меня издательству, и на другой день проверила оба варианта. В то воскресенье мы не стали вывозить Эдвину на прогулку. Кажется, шел дождь. Мы пили чай на Халлам-стрит. К этому времени Эдвина увеличила штат прислуги за счет представительного, крепкого малого, вдовца по фамилии Румпелл; до войны он служил дворецким в шикарном особняке, а в армии сделался старшиной. Он так ловко управлялся с карточками, что Эдвина могла задавать нам роскошные чаепития.

— Нет, с «Триадой» я не говорил, — сказал Солли, переворачивая письмо, словно в нем содержался тайный шифр. Эдвина, похоже, также ничего об этом не знала.

— Может, это по поводу вашей книжки, мисс Флёр, — заметил Румпелл, который стал здесь своим человеком. Более того, если верить Дотти, он «весьма сблизился» с мисс Фишер, и они на пару успешно «доят» Эдвину — это если верить Дотти, но, на мой взгляд, это не имело значения, поскольку с ними за Эдвиной был обеспечен прекрасный уход. Румпелл взял письмо. — Сдается мне, они хотят вашу книгу. Видите, они пишут «признательны». Обратно же, если вы ищете

место, то хозяева никогда не бывают «признательны», это вы им признательны. Видите, вот здесь так и написано: «Мы были бы Вам признательны, если б Вы…»

— Господи боже ты мой, — сказал Солли, — я же посылал им «Уоррендера Ловита» четыре или пять недель тому назад. Совсем из головы вылетело.

— Надеюсь, им достанет признательности, — прокрякала Эдвина.

До конца чаепития Солли рассказывал нам о троице из «Триады» — сестре и двух братьях, всегда и во всем действовавших в полном согласии.

— Но особых надежд не питай, — сказал Солли. — Может, речь пойдет всего лишь о месте. Они могли прослышать, что ты ищешь работу, и у них как раз оказалось свободное место.

— Что ж, и это было бы кстати, — сказала я.

Речь пошла не о месте. Речь пошла об «Уоррендере Ловите».

Знаменитая троица сидела в ряд за письменным столом — Леопольд, Цинтия и Клод Самервиллы собственной персоной, арбитры хорошего вкуса и belles-lettres[25]. У них, думаю,

---

[25] Примечания: 25
Художественная литература *(франц.)*.

была одна душа на троих. Одинаковые скорбные серо-зеленые глаза, очень похожие продолговатые овальные лица. Самый младший, Леопольд, — ему было тридцать с небольшим — имел привычку слегка подпрыгивать на стуле, когда высказывался на волнующую его тему. Цинтия сидела совершенно неподвижно, сложив на столе руки. На ней было серо-зеленое платье — в тон трем парам Самервилловых глаз — с широкими, на средневековый лад, рукавами. У старшего, Клода, начинала пробиваться седина. На долю Клода выпало обсуждать со мной деловую сторону; он делал это голосом, исполненным столь извиняющихся и робких сожалений, что было бы чистейшей жестокостью выяснять или обговаривать с ним условия договора, который, как я с ликованием заметила, лежал перед ним наготове.

Их длинный письменный стол сиял сплошной гладью — никаких пресс-папье, ручек, чернильниц, корзинок «Вх.» и «Исх.». Только мой «Уоррендер Ловит» перед Цинтией, папка с отзывами рецензентов — перед Леопольдом и договор — перед Клодом. Они словно позировали для группового портрета. Все было на месте, не

хватало лишь Brandenburg Concerto[26] на заднем плане. Но я уверена, что продуманность их поз была только кажущейся. В «Триаде» до известной степени и вправду прибегали к постановочным эффектам, но, наблюдая на протяжении ряда лет, я установила, что в основе их коллективного образа на публику лежала чистейшей воды интуиция, если не гениальность.

Они поднялись, чтобы поздороваться со мной, и снова уселись, а Леопольд при этом слегка подпрыгнул.

— Мы были бы рады опубликовать ваш роман, — сказала Цинтия. Сестра и братья в унисон улыбнулись — не широко, но благожелательно.

В ту минуту я едва ли поверила б, расскажи мне кто, что Цинтия держит в любовниках грузчика с Ковент-Гарденского рынка, Леопольд увивается за капельмейстером, а Клод успел жениться на богатой американской вдове, у которой было четверо детей от первого брака и двое — от него. Мне казалось, «Триада» возникла из ничего и, стоит мне уйти, в ничто же и возвратится.

Леопольд, похлопав по папке с рецензиями, заверил, что царящий в них разнобой возбуждает

---

[26] Примечания: 26
Бранденбургский Концерт *(итал.)*.

со стороны издательства самый острый интерес. Он подпрыгнул на стуле и заявил:

— У одних рецензентов роман вызвал отвращение, а другие пришли в восторг.

— Поэтому мы считаем, что у него будет небольшой круг преданных читателей, — сказала Цинтия.

— Его опубликование, разумеется, ничего нам не даст в коммерческом плане, — добавил Клод.

— Общее мнение таково, — сказал Леопольд, — что, хотя злокозненность Уоррендера несколько сгущена, вы подняли общечеловеческую тему. *(Подскок.)*

Я сказала, что, по-моему, люди вроде Уоррендера Ловита могут существовать в действительности.

Все трое единодушно со мной согласились. Я была уверена, что среди тех, у кого книга вызвала отвращение, находились Тео и Одри Клермонты, которые от случая к случаю рецензировали для «Триады»; спустя много лет я выяснила, что избыток рвения, с каким они пытались похоронить «Уоррендера Ловита», в конечном счете как раз и склонил «Триаду» в пользу романа.

Мне хотелось взять договор с собой и спокойно его изучить — вполне понятное желание. Но

столь чудовищно уязвить кроткого, нерешительного Клода — на такое не смогли бы решиться ни я и никто из моих знакомых. Я подписала договор на месте, только посмотрела, есть ли факультативная клаузула.

— Условия опциона подлежат согласованию, — прошелестел он, как бы тайно надеясь, что я не переменю решения. И добавил: — Мы сочли такую формулировку наиболее тактичной.

Он сделал ударение на слове «тактичной», вследствие чего процедура подписания договора временно утратила такт.

На самом же деле договор был хорошим. Аванс в счет гонорара составил невиданную сумму в сто фунтов, без которых я не могла обойтись. Обращаясь непосредственно к Цинтии, я поведала им о близком к завершению «Дне поминовения» и очередном задуманном мною романе — «Английская Роза». Цинтия глядела на меня своими серо-зелеными глазами, Клод благоговейно вздохнул, а Леопольд дважды подпрыгнул. Так я стала постоянным автором «Триады».

Я растянула аванс до ноября, когда «Уоррендер Ловит» должен был выйти в свет. Ноябрь — плохой месяц для публикации, но романам-дебютам с неясными перспективами приходится

уступать дорогу потенциальным фаворитам. Я правила гранки романа с чувством, что все это мне окончательно надоело. «День поминовения» был почти закончен, и эту книгу я в те месяцы любила всем сердцем.

Уолли свозил меня в Кембридж; если не ошибаюсь, это было в сентябре. Мы побывали в Грантчестере, на родине Руперта Брука[27]. «И часы на старой церкви стали без десяти три?» Часы на старой церкви *стояли* на без десяти три. По указанию администрации. Часы, Грантчестер, Руперт Брук и обычай все еще подавать мед к чаю вдруг показались мне отвратительными, о чем я поведала Уолли. Он не был таким уж бесчувственным.

— Меня-то, надеюсь, ты не включаешь в число своих мишеней, — заметил он.

В конце концов Уолли женился на Английской Розе, прекрасно разбиравшейся во всех placement[28] и дипломатическом протоколе, и стал предметом восхищения со стороны окру-

---

[27] Примечания: 27

Английский поэт (1887–1915), писавший в романтических традициях; далее обыгрывается строчка одного из известных стихотворений Брука.

[28] Примечания: 28

Здесь: чины, ранги, иерархия *(франц.)*.

жающих, включая детских нянек. Со временем Уолли сделался послом и обзавелся плавательным бассейном, вокруг которого всегда толклись важные лица со своими супругами, и Уолли от случая к случаю баловал их своим появлением: «Сию минуту удрал».

«Триада» отпечатала тысячу экземпляров «Уоррендера Ловита», надеясь продать пятьсот.

— Но можно рассчитывать на несколько благожелательных рецензий, — сказала Цинтия по телефону. Ко мне на дом прислали фотографа — снять меня для суперобложки.

В конце октября вышел роман Лесли «Двумя путями». В нем фигурировала бессердечная женщина, объявившая войну бедному парнишке-кокни за привязанность нашего героя. Главная моя претензия сводилась к языку произведения. Лесли до такой степени не хватало умения передать характерный говор лондонца-кокни, что он обратился к фонетическому письму, а в моих глазах это было и остается художественным недостатком. «Чиво ж ето ты со мной изделаишь, гаспадин хароший?» — взывает у Лесли его юный кокни, хотя ему (поскольку читатель-то знает, что он кокни) всего и требовалось сказать: «Ты не можешь этого сделать». И прозвучало бы так

куда достоверней, чем со всякими «чиво», «ето» и «изделаишь».

Как бы там ни было, на роман Лесли появились две рецензии, и Дотти их прихватила, чтобы мне предъявить. Рецензии были так себе, но все лучше, чем ничего.

Ничего и не появилось в первые две недели после выхода «Уоррендера Ловита». Это молчание меня огорчало, но не очень: я успела наполовину забыть о романе, настолько дорога была мне моя новая книга.

Как-то в четверг я пошла к Солли. Он обещал дать мне взаймы расплатиться за комнату — я ждала гонорар за несколько статей и рецензий. Вообще-то я еще задолжала зубному врачу, и его секретарша уже начинала терять терпение; я с утра до вечера не отвечала на телефонные звонки в уверенности, что это она так настойчиво меня добивается. Привратник страшно обиделся, когда я по внутреннему телефону попросила его всем отвечать, что меня нет дома. Он заявил, что не имеет привычки врать людям. Я объяснила, что «Нет *дома*» — не ложь. Формально он со мной согласился, но, судя по тону, продолжал дуться.

Солли, как обычно, сидел в окружении беспорядочной груды газет и журналов. Я сказала:

— Не люблю занимать. Но я скоро отдам.

— Нашла о чем беспокоиться, — сказал Солли, улыбаясь из ералаша периодики, разбросанной на столе и на стульях. Я заметила несколько еженедельников и еще «Ивнинг стандард», а затем увидела свою фотографию. Рецензии на «Уоррендера Ловита» появились повсюду — и все вполне благожелательные и очень большие. Солли сказал, что, по предварительным сведениям, то же повторится и с воскресными газетами. Под фотографией в «Ивнинг стандард» была подпись: «Флёр Тэлбот в уставленном книгами кабинете своей лондонской квартиры». Давно все это было.

Помнится, Тео Клермонт выступил с рецензией в одной из воскресных газет. Он утверждал, что книга, несомненно, значительна, но ее автор, вероятно, уже не сможет написать что-нибудь новое. Его пророчество не сбылось, потому что «День поминовения» доставил читателям столько же удовольствия, сколько «Уоррендер Ловит»; а после этого — «Английская Роза» и остальные романы, одни больше, другие — меньше.

И вот еще какая подробность того дня, когда я отправилась к Солли занять денег расплатиться за комнату, приходит на память: по возвращении

меня у входа ждал мистер Алекзандер с «Ивнинг стандард» в руках. Он рассыпался в поздравлениях и пригласил зайти выпить с ним и его женой. Как-нибудь в другой раз, сказала я. Привратник тоже пребывал в возбуждении, не зная, как отвечать на звонки, и одновременно остолбеневший от моей фотографии в газете. Он не был до конца убежден, что я не замешана в чем-то противозаконном.

В тот же вечер, помню, ко мне заглянул Лесли. Поздравил с выпавшей на мою долю удачей.

— Конечно, успех у широкой публики… — Он не закончил предложения. — Ну, я-то всегда останусь твоим другом, — сказал он, словно меня выпустили на поруки.

Груда телефонограмм все росла. Одну пачку привратник вручил мне сразу же, вторая поступила вечером около девяти. Я взяла их с собой в постель, чувствуя себя несколько ошарашенной, и стала просматривать одну за другой. Среди тех, кому мне предстояло ответить, были мисс Мэйзи Янг, миссис Берил Тимс, мисс Цинтия Самервилл из «Триады», мистер Серж Лемминг, редактор критического раздела из «Образцового домоводства», литературный редактор «Ивнинг ньюс», мистер Тим Сатклиф с третьей программы

Би-Би-Си, мистер Ревиссон Ланни и масса других, включая Дотти. Я перезвонила Дотти. Она обвинила меня в том, что я сама все это задумала и подстроила.

— Ты знала, что делала, — заявила она. Я согласилась, что с моей стороны имела место умышленная задержка, и сказала, что утром уезжаю в Париж.

На самом деле я укрылась на Халлам-стрит и провела у Эдвины несколько недель, пока не схлынул ажиотаж вокруг книги. Меня ждала работа. Успех — такая же тема, как и любая другая, а в то время я знала о нем слишком мало, чтобы рассуждать и отвечать на вопросы. За эти недели «Триада» уступила права на издание «Уоррендера Ловита» в Америке, на издание в дешевой массовой библиотеке, на большинство зарубежных переводов и на экранизацию романа. Прощай, бедность. Прощай, моя юность.

Давно это было. С тех пор я пишу со всем тщанием и всегда при этом надеюсь, что у моих романов серьезный читатель. Не хотелось бы думать, что мои книги читает всякая шушера.

Эдвина скончалась в возрасте девяноста восьми лет. Ее слуга Румпелл женился на мисс Фишер, и все ее состояние отошло к ним.

Мэйзи Янг открыла вегетарианскую столовую, которая процветает под эгидой миссис Тимс.

Отца Эгберта Дилени арестовали за непристойное поведение в парке и направили в исправительный центр. Дотти, от которой я в основном узнаю обо всех этих лицах, после этого потеряла его из виду.

Сэр Эрик Финдли умер, будучи в хороших отношениях со своими родными и прожив достаточно долго, чтобы заработать репутацию оригинала, а не психа.

Баронесса Клотильда дю Луаре тоже умерла в шестидесятых годах — в Калифорнии, где примкнула к какой-то высокоорганизованной религиозной секте. Если верить Дотти, она скончалась на руках у своего духовного наставника, восточного мистика.

О том, какова судьба миссис Уилкс, я не имею ни малейшего представления.

Но о ком скорблю, кого оплакиваю — это Солли Мендельсона. Солли, тяжело хромающего по аллеям Хампстед-Хита, Солли с его большим белым от ночных смен лицом. О Солли, друг мой, друг мой.

Дотти столько раз разводилась и выходила замуж, что я уже и не помню ее теперешней

фамилии. Я живу в Париже; нынешний Доттин муж, корреспондент, привез ее с собой в Париж несколько лет тому назад. У нее осложнения с детьми и самый безобразный внук из всех, что мне доводилось видеть, но она его любит. Когда ей бывает невмоготу, она поздно ночью приходит ко мне под окна и поет «За счастье прежних дней» — песню, которую французы не способны оценить в двадцать пять минут второго ночи.

На днях я заглянула к Дотти в ее маленькую квартирку, разругалась с ней — в отличие от нее я, оказывается, увиливаю от настоящей жизни — и, раздраженная, как это постоянно бывает, вышла во внутренний дворик ее дома. Несколько маленьких мальчиков играли в футбол, и мяч подкатился мне прямо под ноги. Я случайно ударила по мячу с той особой грацией, какой никогда не смогла бы добиться, если б специально отрабатывала удар и старалась изо всех сил. Мяч взлетел высоко в воздух и приземлился точнехонько в объятия маленького вратаря. Малыш улыбнулся. И вот, достигнув полноты своих лет, отсюда я, благодаря милости божией, столь счастливо иду вперед.